

Марк Зайчик

... П Р О Е К Т « П А Л Е С Т И Н А » ...

# ПИЛИГРИМ

... Г Е Р Р Г Е Б Б Е Л Ь С У Ж Е У Е Х А Л ...



Марк Зайчик

# Пилигрим

«Алетейя»

2023

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Зайчик М. М.**

Пилигрим / М. М. Зайчик — «Алетейя», 2023

ISBN 978-5-00165-652-4

В новую книгу Марка Зайчика вошли произведения, в которых непостижимо отразились хитросплетения разных судеб и эпох. В новелле «Герр Геббельс уже уехал» маститый советский писатель звонит по телефону нацистскому преступнику, чтобы убедиться в том, что тот не умер, а спокойно доживает свой век под прикрытием спецслужб. В повести «Проект «Палестина» в большей степени описываются «странные сближения», семейные и дружественные, выходцев из СССР, а в «Пилигриме» явственно видится след «конторы», представитель которой преследует главного героя спустя десятилетия после эмиграции.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-652-4

© Зайчик М. М., 2023  
© Алетейя, 2023

# Содержание

Пилигрим	6
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Марк Зайчик

## Пилигрим

© М. М. Зайчик, 2023

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023

\* \* \*

## Пилигрим

### Роман

Уже вторая половина октября. Зима пришла. Дожди в Сиаме вдруг ослабли, все мгновенно высохло и стало по-прежнему голубым и зеленым. Солнца пока нет. 26 градусов тепла и свинцового цвета море, которое видно в конце грунтовой, обрамленной густыми джунглями дороги. Море на горизонте как бы стоит вертикально, дополняя белесого цвета небо с быстро приближающимися ливневыми облаками. Низко и опасно летающие над головами небольшие пронзительно кричащие птицы подтверждают приближающуюся грозу. Желто-зеленая ящерица выкладывает аккуратным узором на плоском мягком камне у спуска к морю умерщвленных стрекоз. В общем, Сиам во всей его чарующей силе и обманчивом тающем цвете зимы.

Гриша Кафкан мельком увидел идущего по проходу первого пилота в синем застегнутом мундире, отделанном широкими золотыми полосками на манжетах, в белой рубашке с твердым воротничком, узком галстуке с логотипом авиакомпании и непонятным значком на лацкане. Он был в рыжеватой недельной щетине, по моде последнего времени, коротко стриженный, подобранный и с выражением последней наглой уверенности на широком лице, знающий многое про жизнь человека с большими возможностями, нерастраченной силой и некоторой властью. Он отодвинул шторку, громыхнул металлической дверью и скрылся от взглядов пассажиров за ней. Одна деталь среди многих других радовала Гришу Кафкана в торжественном одеянии пилота. Из кармана мундира торчал экран электронного прибора, подключенного к популярной библиотеке. На экране был воспроизведен абзац из книги «По направлению к Свану». Вот что было написано четкими большими буквами на нем: «Ах, что там ни говори, в жизни все-таки много хорошего, мой милый Амедей!».

Но тут он вспомнил, что у него умерла жена, и, очевидно, решив не углубляться в то, как мог он в такую минуту радоваться, ограничился жестом, к которому он прибегал всякий раз, когда перед ним вставал сложный вопрос: провел рукой по лбу, вытер глаза и протер пенсне. Он пережил жену на два года, все это время был безутешен и, тем не менее, признавался дедушке: «Как странно! О моей бедной жене я думаю часто, но не могу думать о ней долго». – «Часто, но недолго, – как бедный старик Сван», – это стало одним из любимых выражений дедушки, которое он употреблял по самым разным поводам. Я склонен был думать, что старик Сван – чудовище, но дедушка, которого я считал самым справедливым судьей на свете и чей приговор был для меня законом, на основании коего я впоследствии прощал предосудительные в моих глазах поступки, мне возражал: «Да что ты! У него же было золотое сердце!».

Вообще, если честно, то этот молодой человек лет тридцати семи с половиной был похож внешне на уличного кота. Только эти животные с самостоятельной внутренней жизнью все-таки, несмотря на мировой прогресс, еще не могут управлять реактивными пассажирскими самолетами межконтинентальных рейсов. Просто не обучены.

Григорий Соломонович к кошкам относился трепетно. Он и летать никуда не хотел, потому что не с кем было оставить кошку Манюню, и ко всему прочему, дома ему было хорошо и уютно. Но близкие родственники сломали его сопротивление, пользуясь известным неопровержимым способом и суровым аргументом «если не мытьем, так катаньем». Манюню пристроили к соседке, добродушной и безотказной даме. «Все равно ей делать нечего, а так есть цель у нее, есть к чему стремиться», – сказала всезнающая жена, которая могла быть циничной и меткой, несмотря на хорошее образование и врожденное доброе сердце. Одно другому не мешает, как с удивлением выяснил для себя уже в Израиле старик Кафкан.

Он много часов должен был лететь вместе с семьей, куда же без них без всех, в чудесный уголок мира на самом краю земли, с голубым неглубоким заливом, с почти непроходимыми

джунглями, с внезапными дождями большой силы, называемыми муссонами, и с милыми местными жителями, невысокими, непонятными и непохожими ни на кого из известных Григорию Кафкану людей.

Правда, когда-то давно, на даче под Ленинградом, сдержанный мужчина с внимательными глазами, вернувшийся из командировки во Вьетнам и смежные ему страны, рассказывал шестнадцатилетнему Грише и его отцу про совершенно фантастическую Азию вообще, и более подробно – про отдельные страны в этой части света. «Ни на что не похоже вообще», – утверждал этот молодой лобастый военный мужчина, азартно качая на руках капризничавшего мальчика лет трех. Как-то, несмотря на его многомесячное отсутствие, ребенок – а были еще два малолетних крепыша – появился у него и его жены со славянским несовершеннолетним, чувственным и прелестным профилем, с туго зачесанными по-балетному назад льняными волосами. Вероятно, все дело было в его кратких отпусках из служебных командировок в далекие, влажные и туманные точки мира. Конечно же, все дело было в его отпусках, ни о чем другом речи не было, никто и не думал, это невозможно. Профиль его жены был безукоризненно чист, как и, бесспорно, ее помыслы.

Цветной сон Григория Кафкана был крепок, необычен и совершенно неожидан. Откуда он появился, было не совсем ясно. Может быть, это было и хорошо, потому что есть в жизни вещи непостижимые, ведь правда?!

Тот русский военный на даче сказал отцу, качая своего мальчика сильными голыми руками отпускника – дело было после шестьдесят седьмого года, после Шестидневной войны на Ближнем Востоке – сказал Соломону Кафкану и его вечному дачному оппоненту: «Ваши летают хорошо, не хуже наших, иногда даже лучше. Не всегда понятны их мгновенные сокрушительные уколы. Молодцы они, холодные бойцы». Соломон Кафкан заулыбался всем лицом, как у него и только у него получалось. Он взглянул на помрачневшего от этих слов отставника и сходил в дом за вином и бутылкой водки для дорогого соседа по даче, который был честен и прекрасен. Жена военного забрала ребенка у него из рук и с недовольным лицом унесла его, бросив: «Вы тут не увлекайтесь, Сереже много нельзя». – «Мало этому Сереже тоже нельзя», – мельком ответил Сережа сам себе. «Толик, по-моему, покакал», – добавил Сережа. «Знаю без тебя. Я сейчас тебя поменяю», – сказала женщина нежно сыну. Помрачневший оппонент тоже не удержался и принес от себя своего добра, и дело кончилось подробным рассказом Сережи о Египте, Синае, Аль-Арише, Александрии и других географических пунктах. И сияющим прекрасным лицом отца с совершенно не загоревшей кожей. Кожа его, сурового и упрямого человека, никогда не темнела, он был почти праведник, если честно. Это теперь Грише, ворчливому старику, стало очевидно.

Гришу встретил в аэропорту Невельского складной и собранный курносый малый в растегнутой куртке. Он подошел к Кафкану и сказал: «Здравствуйте, Григорий Соломонович. Я вас встречаю, меня звать Гена, я должен отвезти вас в Биробиджан, давайте чемодан». Гриша отдал парню свой чемодан и пошел рядом с ним к выходу. Толпы не было, люди шли разоб-щенно. Холод, Сибирь, Амур, Тайшет и непонятный Грише БАМ...

– Сколько нам ехать?

– Часа два с половиной, возможно, три, если с остановкой и не торопясь, – объяснил Гена. – Это километров двести, боковой ветер, машина у меня славная, домчим.

Машина у него была японский джип с левым управлением, затемненными стеклами и мощным двигателем. Остановились у киоска с зарешеченным окном. «Я возьму воды и пирожков в дорогу», – Гена выскочил наружу, не выключив двигатель и отопление, и бросился за покупками. Гриша не успел сказать ничего ему. Вернулся он скоро, нагруженный тяжелыми пакетами, в которых позвякивали бутылки. «Это боржом, еда, рыбка там и немного водки на всякий случай – тайга, Григорий Соломонович, мы в тайге все-таки». Гриша немного разомлел после пережитого в полете и молча кивал шоферу. Сил на разговор у него не было.

В дороге ветер раскачивал машину, как картонную пустую коробку, Гена справлялся с этой проблемой неплохо. С двух сторон шоссе были затянутае льдом водные просторы. Речь идет о ручьях и болотах с черными деревьями и голыми кустами по берегам. Гена сказал, не отрываясь от руля, что «это вот река Бира». Гриша не понял, где эта река, вероятно, повсюду вокруг. Людей Гриша не заметил за все время ни разу – ни вдали, ни возле.

Через три часа пути без остановок по узкому асфальтированному шоссе въехали в так называемый поселок городского типа с домами, сложенными из светлого кирпича, с широкими улицами, по которым сновали женщины в зимних пальто с меховыми воротниками, в платках, с вместительными сумками в руках. «Это и есть Биробиджан, столица автономии», – объяснил Гена. Он был и шофер, и охранник, и гид.

В гастрономе разгружали ящики и большие коробки с рыбой и макаронами. «Пообедаем сначала», – сказал Гена. Гриша промолчал, он был дорогим гостем и помнил об этом. Подъехали к столовой, называвшейся по старинке доступно – «Путь к коммунизму». В Ленинграде и Москве таких названий он уже не замечал. Гена предложил ему полушубок, но уже приехали, и Кафкан сказал, что «спасибо большое, Геннадий, но я оденусь уже после обеда». Гриша не удивлялся ничему, он уже это все видел прежде в других местах. С опаской он последовал боком по широкой лестнице, боясь поскользнуться в своих ботиночках на утоптанном снегу к онтологическому и такому знакомому входу в желанную точку общепита. Гена шел рядом, готовый помочь при первой необходимости заезжому иностранцу, вернуть ему равновесие и оградить от превратностей суровой сибирской жизни.

У входа в столовую стояла на ветру высокая женщина в роскошной меховой шапке. Она была похожа на гранитный памятник самой себе, занесенный снегом. На ней был белый халат, ее лицо выражало любезность и все возможное дамское обаяние, которое можно показать на ветру и на суровом морозе важному приезжому гостю из далекой дружественной страны.

– Мы рады приветствовать вас, товарищ Кафкан, на нашей гостеприимной земле, добро пожаловать, – сказала она Грише, который не знал, куда деваться от стыда.

В вестибюле было тепло, можно было снять верхнюю одежду без вреда для здоровья. «Мы приготовили для вас завтрак в еврейской пищевой традиции, товарищ Кафкан. Руководитель общины уже ждет вас», – сказала дама торжественно. «Боже мой, какой общины?» – Гриша не помнил и не понимал ничего. Он не всегда сразу все схватывал и понимал в жизни. С малых лет это было с ним.

Оказалось, что стоящий в глубине зала бритый дядя с лепными морщинами на лице и шее – и есть руководитель еврейской общины. Что это такое – «еврейская община» – было Грише неясно. Он уехал из СССР навсегда тогда, когда не было никаких общин вообще и еврейских в частности.

Человек с медалью «За доблестный труд» на лацкане пиджака ожидал гостя, стоя у праздничного стола, опираясь на него двумя распухшими пальцами правой кисти. Симметричный человек, еще крепкий, со своим пониманием этого мира.

Посередине стола на крахмальной скатерти находилось блюдо с фаршированной рыбной, украшенной цветком, искусно вырезанным из моркови. Они славно посидели, хотя Гриша пить уже не мог, это было выше его сил. Только за первый тост, произнесенный руководителем с медалью на лацкане: «За Еврейскую автономию – стоя», – Гриша сумел опрокинуть вместительную рюмку водки. Очень хорошей. Лучше ему не стало. Сколько можно, скажите.

Руководитель общины ел мало, больше рассказывал о нуждах своих людей:

– Нам нужно восстановить синагогу первым делом. Хотя я и атеист, но необходимость в этом первоочередная, Григорий Соломонович. И, во-вторых, общинный дом – это все очень нужно, как воздух нужны средства. Я уверен, что ваша организация поможет нам во всем. Вы меня, конечно, понимаете, я вижу, что все понимаете», – руководитель общины говорил убежденно, Гриша и сам ему поверил.

– Конечно, все нужно, конечно, нужны средства, я понимаю вас...

– Вы, наверное, отвыкли там и от нашего снега, и от непомерных возлияний, так что простите нас, – неожиданно этот человек показал себя другим, смущающимся и одиноким стариком.

– Ну, что вы, конечно, нет, – фальшивым не своим голосом сказал Кафкан, отведя от него глаза. Он понял, что у него пропал интерес и любопытство, которые привели (привезли) его в эту ситуацию и на эту должность, которую мама, проницательная, простая мудрая мама когда-то назвала *люфт гешефти* (непереводимо, хотя можно попытаться и перевести как «дела из воздуха», то есть нечто туманное, неоформленное, необъяснимое). Здесь очень сложно обжиться в абсолютно герметичной для посторонних людей территории. Неожиданно Грише мучительно захотелось убраться отсюда, из этой бескрайней и очень разнообразной страны, ни на что не похожей, чудесной и совершенно незнакомой, настойчиво мешающей ему жить. Больше всего ему захотелось вернуться на свою улицу Кашани или на любую другую иерусалимскую горбатую, спускающуюся в низину к парку улицу, скажем, Рамбам, неважно. Главное, немедленно отсюда убраться и приехать домой.

Он пробыл в этом городе еще два дня, много выслушал просьб и требований, старался не обещать больших сумм, да и малых тоже, потому что это было не в его компетенции. Гриша простился со стариком из директората общины, который его настойчиво, трогательно и неназойливо опекал («вы сыты, дорогой Григорий Соломонович?») был на трех праздничных мероприятиях, устроенных в его честь, с обильными обедами, чудесными песнями на идиш («*майн штетале Белл, аф дем припечек брент а фаерел, шейн ви ди ливоне*»), которые пели три громкоголосые девушки в сарафанах под баян и гитару, с шумными тостами местных активистов, работников культуры и бизнесменов, и обязательным тортом «Наполеон» в качестве сладкого напоследок. Все выступавшие говорили старательно, солидно, пытаясь на Кафкана, гостя из надежной заграницы, произвести наилучшее впечатление. У очень многих это получилось хорошо. Чудно позванивали опустошенные хрустальные фужеры.

Один почти трезвый персонаж достал из кармана пиджака бумагу, надел очки и объявил: «Разрешите, хе-хе, дорогой приезжий из Иерусалима, я скажу стих нашего поэта, кое-что сокращу для краткости»... Обстановка располагала к устному творчеству, признаем.

Снаружи стучали молотками плотники, строившие стропила, и громыхали ящиками грузчики продуктового магазина. И под этот стук и грохот, поправив указательным пальцем очки в роговой оправе, он прочел: «Меж Биджаном и Бирою, тайну вам сейчас открою, город сказочный стоит, средь болот, Амуру щит. Век двадцатый не простой, был проселок здесь пустой, комариный этот край для евреев пусть не рай... простите, ну, здесь пропустим, а вот и конец... душновато сильно летом, выйдете вы в лен одетым, так легко привольно будет, нашу зиму не забудет. Ветрена она, сурова, с нею встретиться готовы? Ицък, Ваня, Роза, Поля, будь счастлива ваша доля».

– А ведь это надо напечатать, там у вас, в Иерусалиме, вот было бы славно, – сказал руководитель литобъединения при библиотеке, задумчиво улыбаясь. «Надо замереть немедленно и не реагировать никак», – подумал Кафкан. Он кивнул в ответ говорившему, глядя на расплывающийся желто-оранжевый свет под потолком, потом повторил, что, «конечно, в Иерусалиме, конечно, славно, конечно, обязательно».

По ночам он засыпал, как говорится, без задних ног, в номере кооперативной гостиницы на втором этаже. Слово «кооператив» уже не удивляло и не резало слух, Гриша привык, приносился. У него была уютная комнатка три на четыре с фанерным шкафом для баула, плаща и приобретенной за малые деньги меховой шапки, с работавшим не каждый раз плоским телефонным аппаратом на столе и с лампой под зеленым абажуром.

Какой это год? Какая страна? Какое это столетие? Но вообще, ясно какое, тоже мне вопросы. Просто во сне не все становится очевидным, господин Кафкан, спите меньше, единственный совет, просыпайтесь.

В ряду с Кафканом в ночном азиатском рейсе через проход сидел мужчина лет сорока-пятидесяти с компьютером, который он поставил на выдвижной самолетный столик. У него было чуть одутловатое привлекательное лицо много думающего о работе и жизни человека, короткая стрижка с широкими затылками и прекрасные кисти рук с чувственной формы пальцами. Кафкан часто отмечал форму кистей рук собеседников или просто знакомых. Он считал, что руки отражают некую важную черту в характере человека. Это мнение не всегда было верным, но иногда попадало в точку.

Изредка сосед Кафкана замирал, руки его застыли над клавишами, он закрывал каре-желтые глаза и, как бы обогащенный новой мыслью и идеей, через пару мгновений возвращался к работе с новой энергией. Башмаки он снял и удобно опирался ступнями в носках в черно-желтую клетку о стенку, отделявшую их салон от соседнего помещения. Кафкан подивился этому умному, привыкшему к путешествиям человеку. Надувная подушечка по форме шеи облегчала этому опытному путешественнику долгий путь. Кафкан кивнул своему впечатлению, закрыл глаза и заснул. Устав за весь этот нервный суматошный день, он сразу провалился в сон, который оказался цветным, трогательным и непонятным.

Ему приснилось, что он уезжает из Ленинграда навсегда тем самым майским свежим утром почти полвека назад. Он, двадцатитрехлетний, сильный, легко шагающий по земле и жизни, молодой, с мощной спиной и такими же руками человек, не обремененный ничем, идет по залитому солнцем бетону аэродрома к самолету вместе со своими родными отцом и матерью, неся в руках сетку с бутербродами, которые мать заготовила с вечера впрок. «Кто знает, что там в этих самолетах, чем кормят и кормят ли вообще», – говорила она с ворчливой интонацией жительницы коммунальной квартиры в окраинном районе Ленинграда. Она очень волновалась, хорохорилась, все время что-то говорила, не обращая ни к кому, пытаясь скрыть свое волнение и страх. Она завернула свои массивные бутерброды с маслом, сыром, солеными огурцами в салфетку, фольгу, газету и сложила их в авоську. Еще были бутерброды с котлетами, в отдельной фольге, ее фирменное блюдо с незапамятных времен, сколько себя помнил Гриша, то есть лет с четырех-пяти-шести. Тот же батон, те же огурцы и крупные зажаренные котлеты, которые остро пахли луком, фаршем, хлебом и какой-то неизвестной Грише приправой. Он всегда хотел у матери выяснить, что она добавляла в котлеты, но забывал об этом. Были, как он думал, у него дела поважнее. А потом и спрашивать стало не у кого.

Кстати, когда он привел в дом к матери и отцу будущую жену, то мать, конечно, сразу же бросилась их кормить. Была пятница, время после полудня. Они выехали с базы на севере, где служили вместе, так случилось, в двухдневный отпуск конца недели, то есть до воскресенья (здесь, в Израиле, это так), в шесть утра, и пока добрались попутками до Хайфы, дождались автобуса на Иерусалим, время то и ушло. Они сидели за столом, голодные, как молодые волки, которыми они и были на самом деле, и ели эти котлеты, и его женщина, которую звали Майя, шептала ему: «Невероятно, как это вкусно, у меня дома и вокруг никто так не умеет». У нее, кажется, и слезы текли по веснушчатым впалым щекам к подбородку от вкуса этих котлет, которых было целое блюдо с синей каймой от Ломоносовского императорского завода перед ними, и мать все подносила и подносила из кухни новые дымящиеся порции. Как мать цеплялась за это фаянсовое блюдо! «Оно мне очень дорого, память о моей жизни», – повторяла она, упаковывая блюдо в ленинградские газеты, в старую простыню, потом в полотенце и, наконец, в чемодан. «И не смейся надо мной, ты ничего не знаешь и не понимаешь, Гриша», – говорила она сыну. Гриша и не думал смеяться, он только тихо удивлялся, не подавая вида.

Так вот, отлет. Бутерброды им не понадобились. Кормили в самолете отменно, это было время, когда в СССР, который был в своей огромной силе и богатстве, к пассажирам между-

народных линий относились по-царски. Знай, мол, наших. Мать не ела ничего от волнения. Гриша съел свой и отцовский обед, в котором были все доступные и недоступные деликатесы того непостижимого, невероятного и славного времени. Сказать, что все времена, в которых мы живем, славные, нельзя, потому что это не так. Отец съел бутерброд с сыром, запил водой из граненого стакана и с любопытством смотрел вокруг себя своими глазами цвета блеклой синевы. Он был очень хорош собой, этот уже старый человек с небольшой бородкой, с круглыми очками без оправы, с непонятым советским галстуком и в белой рубахе довоенного покроя с острым воротником и неновой шляпе, которую он не снял даже в самолете. Никому ничего не объяснял, а просто не снял. Он шляпу по возможности никогда не снимал, «нельзя потому что». Он мог быть непреклонным, упрямым и ужасным, этот человек – так с восторгом думал о нем, о Соломоне Кафкане, сейчас, почти через пятьдесят лет после того дня, Гриша Кафкан, его сын и наследник. Чего, а?

Григорий Соломонович Кафкан проснулся от легкого прикосновения к плечу. Легкий запах хороших духов вернул его сознание в реальную жизнь, протекавшую на борту авиалайнера. Стюардесса в синем форменном костюмчике, в кокетливой пилотке спросила его осторожно, боясь помешать ему видеть сны: «Вы обедать будете? Есть на любой вкус, все горячее и свежайшее, господин Кафкан». Гриша повел плечами, скосил на нее глаза, она была хороша и доброжелательна, как будто сдавала экзамен по обслуживанию капризных клиентов. Сосед с компьютером поглощал аппетитно пахнувшее поджаренное мясо, по виду стейк. Рядом с мясом расположилось пюре с подливой и овощи. Все это взывало к плотной трапезе. Было три часа утра. Или ночи, это как откуда считать.

Кафкан попытался изобразить улыбку на своем лице, это у него получилось не очень. «Я откажусь, мне слишком рано есть мясо, уважаемая», – сказал он и смежил веки, он очень хотел посмотреть еще сон, неважно какой. Сны он видел редко последнее время и хватался за каждую возможность увидеть их и узнать, чем все закончилось. Чем-чем, тоже мне вопрос. Все знают, чем и как, но все равно все настойчиво пытаются разузнать и как все прошло, и как все будет, и обязательный эпилог.

На этот раз он увидел зал казино со снующими почти раздетыми официантками и крепкотелыми охранниками, затянутыми в галстуки и похожими на скульптурные изображения. Группы людей толпились вокруг столов, за которыми играли в покер, «блэк джек», баккару. Отдельно крутилась рулетка, которую с надменным выражением одутловатого лица запускал человек в цветной жилетке. Он монотонно повторял: «Ставки сделаны, ставок больше нет, господа». – «Восемнадцать», – как замороженная сказала жена Гриши. Нервно и энергично постукивал шарик, определяя чью-то радость или грусть и оттенки некоторых других чувств. Рядом с Гришей стояла его молодая жена в черном платье с разрезом вдоль бедра, с платиновым браслетом на запястье левой руки, тускло и дорого поблескивавшим. Брошка с крупным бриллиантом, доставшаяся ей в наследство от свекрови, хорошо смотрелась на ней. Вообще, она производила большое впечатление своим видом и манерой держаться. Судя по ней, по ее прическе, по давно потерянной брошке, можно было понять, что дело в этом сне происходит лет тридцать семь назад, максимум тридцать восемь. Вот куда нас заводят сны в самолетах межконтинентальных авиалиний.

Григорий Кафкан обожал эти путешествия во времени. Эта другая реальность, недостижимая в жизни, давала ему тот фон, который примирял его с непонятым и пугающим настоящим временем. И не только примирял, но и создавал ту чудесную реальность, в которой он пребывал когда-то так сладко и чудно, так знакомо и ощутимо. И безопасно для жизни. Это было время, которое не нужно было понимать или комментировать, это были просто цветные картины жизни, в которых он принимал важное и сильное участие. И все.

Жена Гриши обожала красный цвет, всю жизнь ее цвет был алым. Она носила только туфли на высоком каблуке алого цвета. «Дай мне сто долларов», – попросила она у Гриши,

нетерпеливо глядя на рулетку и людей, наблюдавших и игравших в нее. Грише был хорошо знаком этот тон ее и настроение. Никогда в такие минуты он ей не перечил и не отказывал. Он безропотно достал бумажник из внутреннего кармана пиджака и передал ей двести долларов со словами: «Не очень увлекайся, Майя, я здесь». Слов его она не слушала, забрала деньги и подошла к столу. «На красное сто долларов», – услышал Гриша ее соловьиный, по его устойчивому давнему мнению, голос. Он перебрал в кармане фишки, купленные в кассе при входе, и осторожно пробравшись через спину игравших, поставил по двадцать пять долларов на ближайших к краю игровых. Они покосились на него, на его профиль, на его руку, на зеленые фишки, но никто ничего не сказал. Это был не его день.

Через десять минут после первой ставки Гришины карманы были пусты от каких бы то ни было фишек. И от красных по пять долларов, и от зеленых по двадцать пять долларов, и от черных по сто долларов. Он неудачно выбрал место, встав позади игравших. Сидячих мест не было. Мужчины, сидевшие на конце стола, проигрывали раз за разом. Один посмеивался и вел себя хоть и нервозно, но прилично. Усмехался, мотал головой и изредка вздыхал. У него получилось при раздаче король и два, у крупье восемь. Он попросил еще карту, вышло три. Подумав, он героически попросил еще карту и получил четыре. Итого девятнадцать. С некоторой надеждой он выдохнул, «возможно, сейчас нет». Гриша поставил три зеленых фишки (семьдесят пять, между прочим, долларов) на этот квадрат (на эту, как выражаются, «руку»), последние. Игравший скосил взгляд, но промолчал. Крупье, который щегольски щелкал картами о суконную поверхность стола, открылся, там было семь, он добавил еще карту, прилетела, шелестя о настоящий на азарте воздух, пять, итого, двадцать. Игравший, у него была круглая лысина на крепком темени, глубоко вздохнул, так вздыхают при сердечных приступах. «Все, я пустой», – признался тихо сам себе. Гриша тоже остался ни с чем, не переживал, но, конечно, расстраивался. Да и что там с Майей, та в азарте могла выкинуть коленце, заложить, скажем, брошку... С нее станется.

Второй ругался матом, хватался за голову и один раз даже сказал Грише через плечо звонким голосом: «А вы могли бы, сэр, здесь не играть?». Нашел причину в Грише. Справедливости ради, он проигрывал и до Гришиного прихода. Он гулко простонал, очень похоже на выкрик ночной птицы в хвойном лесу, проиграв на своих двадцати, у крупье вышло двадцать одно. Ничего не помогало никому. Крупье с точеными пальцами пианиста или художника, или карманника, невозмутимый молодой джентльмен, был непобедим. Он ведь играл не своими деньгами, а фишками казино, у него не было ощущения крушения основ даже при самом значительном проигрыше.

Гриша, конечно, мог пойти и прикупить еще фишек, но это было против его правил, и он остался стоять за спинами игравших, упираясь указательным пальцем левой руки в борт стола. Горечь поражения влияла на увеличение вкуса горечи во рту. Он постоял в оцепенении пару минут, крупье стогнал еще три круга с тем же успехом для игравших. У крупье было порочное мятое лицо и мягкие, почти женские движения смуглых рук, за которыми можно было смотреть бесконечно, если бы не проигрыши.

Гриша собрался уходить, восстановив дыхание. Тут неслышно подошла Майя, взяла его за рукав пиджака, «смотри что у меня есть». В ее руках была большая пригоршня черных столларовых фишек. Одна из фишек упала на пол и покатила по полу. Охранник быстро нагнулся и ловко, несмотря на бочкообразную грудную клетку, прихватил фишку рукой, в которой невозможно было увидеть не только какую-то фишку, но и предмет позначительнее и потяжелее, например, две фишки или три. Охранник протянул фишку Майе со словами «не теряйте денег, мадам, они не с неба падают». Он был серьезен, и несмотря на свои резкие действия, не задыхался, не тот возраст и подготовка, все подогнано. Все у него впереди. «Дай ему денег, Гришенька, он заслужил», – попросила его Майя с царственной интонацией. А денег у него не было.

«Откуда, что такое, девочка, ты обокрала казино?» – спросил Гриша удивленно, он с трудом понимал происходящее. Майя высыпала фишки ему в руки, взяла бокал со светлым вином у проходившей мимо официантки в корсете и натянутых на бедрах кружевных трусах, и отпила большой глоток с таинственным видом. «Я выиграла эти деньги, дорогой. Мне подсчитали, там три тысячи двести пятьдесят долларов, вот», – сказала женщина с гордостью. «Могу зарабатывать рулеткой на жизнь». – «Ты, кстати, не знаешь, из чего делают эти фишки, милый? Они тяжеленькие, славные», – сказала Майя вполне вовремя. Автоматически Гриша ответил, что фишки делают, кажется, из специального сорта глины, надо проверить. «Всего лишь глина, а какая красивая. Я больше не хочу играть, мой заряд на эту игру кончился. Денег нам не надо больше. Зачем столько?» – Майя была весела и уверена.

Гриша не мог верить ее словам, но разноцветные фишки в ее руках свидетельствовали о том, что женщина говорит правду и только правду. «Я ставила только на красный цвет, это мой цвет, цвет крови и любви, тридцать два красное, ха-ха, милый, я тебя обожаю, давай выпьем шампанского, а... Хочу шампанского».

Гриша, возбужденный до румянца происходящим, крепко держа рукой за талию, увлек ее, с удовольствием потеряв границы дозволенного молодым честным дамам, к кассе с широким окном. Никакой решетки, без охраны, только любовь, алкоголь, азарт и полное, почти неприличное доверие. Сидевшая за окном девушка, красавица и чаровница, добрая неулыбчивая душа, поправив декольте, с серьезным видом пересчитала фишки и выдала им три тысячи двести пятьдесят долларов. «Подари ей деньги, она заслужила, видишь, как выглядит», – влажно попросила Гришу жена. Она как бы подтянулась и явно пыталась вернуться в свой обычный облик доброй, несколько рассеянной семейной моложавой дамы с деловой походкой. Пока безуспешно.

«Где все это происходило?» – подумал Гриша во сне. Ничего не приходило ему на ум. Язык всех этих местных людей необычного вида казался ему знакомым. Никак он не мог вспомнить, что за язык, к какой группе принадлежит и из какой семьи. «Точно не индоевропейский», – подумал Гриша вдруг, что-то вспомнив из прошлого.

Здесь, под широкими темными коврами, были паркетные полы, которые чудно поскрипывали под выходными английскими башмаками Григория Кафкана, надетыми им по случаю выхода в свет, в казино. Такой у него был быт, выход в казино на центральной пешеходной улице города. Они приехали сюда как туристы. Что за город, Майя? Но ей было не до его вопросов. Майя долго надевала свой кокетливый беретик, стараясь придать ему необходимый наклон к правому виску. А что еще нужно для счастья? Женщина, прислонившаяся к твоему плечу, ее горячее дыхание, доллары в кармане и застывший от минусовой сухой погоды тротуар большого незнакомого города. Чьей-то столицы, вероятно. Дверь на тугой пружине тяжело захлопнулась за ними, швейцар в каком-то имперском кителе с золотыми погонами, похожий на состарившегося и все еще бравого улана, степенно поклонился им вслед. Майя сказала Грише, чтобы он дал швейцару денег, но у него не оказалось мелочи, все до копейки оставил в казино. У Майи, нашей миллионерши, были только крупные купюры, только крупные, жирно будет, нет?! «Простите меня, сэр», – сказал Гриша, но в последний момент что-то вспомнил и достал из кармана брюк двадцать шекелей, которые нашел утром, одеваясь. «Берите, это наши деньги, они принимаются повсюду», – швейцар не глядя, с поклоном взял купюру, такой вот человек, абсолютно не брезгливый.

На ночной, заиндевевшей от холода, совершенно незнакомой Грише улице, на другой стороне в витрине танцевала под неслышную музыку полуголая девушка с платиновыми волосами. Она была неутомима. Гриша остановился и поглядел на нее, оценив пластику и совершенство молодого женского тела. Над девушкой на стене дома было написано неоновыми крупными буквами название магазина (ресторана?) Farkash. «Ну, конечно, «Фаркаш», конечно, Будапешт, это было в Будапеште. Как я мог забыть! Гуляш, Пушкаш, Салаши, что еще? Имре

Надь, профессор Еврейского университета Омри Ронен, копченая паприка, Ракоши, советский посол Андропов Ю.Вэ., Бела Кун, расстрелян в Коммунарке, все помню, – обрадовался Кафкан. – Как я мог позабыть про такое путешествие, и Матьяш Ракоши обязательно, тот еще персонаж. А «фаркаш» по-русски волк». Его память хранила о Венгрии массу сведений, от которых он не умел и не хотел избавляться. «Зачем избавляться? Мне все нужно самому».

Студенту из Будапешта Имре Сереньи в октябре пятьдесят шестого года было восемнадцать лет. Он с автоматом в руках дрался против вторгшихся в венгерскую столицу советских агрессоров. Выжил в боях, сумел уйти от коммунистов всех мастей и наций, и перейти границу с Югославией. Он добрался до Израиля в 1957 году и в Иерусалиме окончил Еврейский университет. Филолог-славист. Работал в Гарвардском и Йельском университетах. В Иерусалиме он сменил свое имя на Омри Ронен.

Кафкан открыл глаза. В полутьме самолетного салона он не сразу сориентировался, но соседа в своем ряду разглядел сразу. Тот дремал, откинувшись на спинку кресла. Играла таинственная музыка, очень негромко, назидательно. Между окошками салона была полоса серо-голубой отделки. Можно было увидеть клубы рыхлых облаков и черное огромное пространство неба, в котором мелькали красные бортовые огни летящего невероятного, с мерным гудением чудовищных моторов, переполненного пассажирами самолета, как будто застывшего в воздухе. Эта неподвижная картина успокаивала Кафкана и вселяла в него доверие.

Компьютер с черным потухшим экраном оставался открытым перед трудолюбивым соседом Кафкана. Рядом с компьютером лежала ученическая простая тетрадка в клеточку, заложенная авторучкой с рядами цифр и ровными абзацами слов, написанных аккуратным быстрым почерком справа налево. «Укатали сивку самолетные ночи, укатали», – удовлетворенно почему-то подумал Кафкан и тут же опять заснул. Пазл, складывавшийся из его нынешних неожиданных снов, постепенно обретал совершенную форму и яркий необъяснимый смысл.

Опять ему приснился майский давешний город Ленинград, улица Правды возле стеклянного почему-то входа в баню, где он ждал снаружи товарища, чтобы идти куда-то. Сейчас он не мог вспомнить куда.

Тогда, почти пятьдесят лет назад, Гриша Кафкан был скромным юношей с белой кожей, с семитским по всем внешним показателям профилем, с худыми мускулистыми руками и высокой шеей, которую одна способная ученица третьего курса художественного училища называла «античной и почти безупречной». Кажется, он ей нравился своим внешним видом и поведением, но Гриша не понимал этого. У него был роман с другой женщиной. Окончательного ничего между ними не произошло, о чем она, глядя в упор в глаза, с сожалением ему сказала в аэропорту Пулково на прощании. Но вот она говорила, эта собранная целеустремленная девушка, что «у Кафкана Гриши чарующие(?) глаза и роскошная манера улыбаться подвижным и худым лицом, непонятно как это тебе удается», эта фраза запомнилась ему почему-то, он, как и все, любил похвалы, даже самые далекие от действительности.

Потом эта девушка волшебным образом оказалась в Иерусалиме, и ничего у них не получилось опять, хотя ее планы были большие и обширные на него, видно, звезды не сошлись. «Помнишь, как мы с тобой, милый Гриша, встретились в первый раз? В метро «Технологическая» у эскалатора?». Конечно, он помнил. Прошло всего-то двадцать пять лет или двадцать шесть. Она обронила у эскалатора дешевый кошелек из кожзаменителя, пустой, с двадцатью копейками, как потом выяснилось. «Девушка, это ваш кошелек?». Народ торопился к движущемуся вверх эскалатору и недовольно ворчал на этих двух беседовавших на корточках молодых людей. «Спасибо, там, кажется, были деньги, а сейчас их в нем нет», – вопросительный взгляд. «Есть такое свойство у денег, исчезать», – неудачная шутка. Она скользнула по нему быстрым взглядом продолговатых глаз и отвернулась. У нее было ласковое лицо с круглыми скулами, непонятный цвет глаз, морской, что ли, набирающей силу синевы, рост под метр восемьдесят и непривычное, по тогдашним меркам на моду, куцее пальто темного цвета с туго

завязанным кушаком, но без воротника. Он с трудом поднялся на ноги, колени его уже тогда давали о себе знать. Она чему-то улыбнулась и даже засмеялась. Смех ее звучал птичьим залившимся колокольчиком, сходящим на нижние ноты. Гриша, при всей его деланной, показной мужественности тут же пропал, что называется, «проглотил язык», и замолк, слова остались в нем непроизнесенные.

Лишь потом он справился с речью и смог пригласить ее в мороженицу в угловом доме с тяжелой входной дверью, с четырьмя столами из мрамора с пестрой поверхностью и с влажным полом. Деньги у него, работавшего грузчиком в три смены на хлебозаводе, теперь были. Он взял ей у лихой дамы за стойкой смородинового мороженого, а себе стакан портвейна «777» и две конфетки в зеленых фантиках. Стакан был граненый, наполненный доверху буро-красным сильным напитком, напоенным оптимизмом и надеждой. Играла музыка в кафетерии. Певица исполняла нежную песню композитора Эшпая и популярнейшего тогда поэта Евтушенко «А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет». За соседним столиком выпившие молодые люди с крепкими скулами в пятнах на лицах, один был с лысиной в полголовы, пили шампанское с коньяком и смеялись шуточкам: «А грузин говорит: «А вы у Абрама из Бухенвальда спросите, его фамилия Майданек, – ха-ха, – он все знает»». Анна морщилась и отворачивалась от этих парней, как от зараженных чем-то неприличным.

Почему-то сейчас, спустя годы с того дня, Гриша вспоминал ее совершенно не в Иерусалиме, зрелой, дрожащей от желания и страсти женщиной, а вот той девушкой в широкой черно-синей кофте с дешевой брошкой у левой ключицы, которая поднимала на него горящие глаза от металлической площадки со знаменитым смородиновым мороженым и пыталась завести разговор. «Вот мне уже двадцать четыре года, а талантов никаких у меня особых нет, и что мне с этим делать, я не знаю», – так она грустным голосом ему жаловалась. Ласточка, конечно.

Вот, еще она очень легко шла. Как говорят старики на девушек в соку, сладко жмурясь на солнышке в чахломе парке, «красивая поступь, ах»...

Потом она пригляделась к нему, прищурился близорукие глаза, и сказала негромко и без улыбки: «Нехороший, но красивый, это ктоглядит на нас»...

Гриша не понял этих слов, кому они предназначены. Он не знал, что сказать в свою очередь, промолчал и верно сделал, кажется. Если бы он понял, что к чему, то сделал бы правильные выводы из сказанного девушкой, которую звали Аней. Но он был растерян и смущен ее красотой и явной заинтересованностью в знакомстве с ним. Гриша, уж на что крепкий и похожий на настоящего мачо парень двадцати двух лет, был не очень уверен в себе по молодости лет, и внимание взрослой дамы, какой она ему показалась, давило на него излишне. Неожиданно для себя он взял в руки ее ладонь, оказавшуюся горячей и легкой, и поцеловал, глядя снизу в ее смутившееся и покрасневшее от удовольствия лицо.

После того как они подали документы на выезд в ближневосточную, вражескую для СССР страну, Гриша был уволен отовсюду. Его старики родители, пенсионеры со стажем, очень переживали, особенно выслушивая прогнозы и сплетни от знакомых и друзей о возможной судьбе их мальчика. «Обязательно устраивайся на работу, неважно куда, только чтобы было, что им сказать», – торопливо, взволнованно говорила ему негромким голосом мать. Надо было слышать этот тон, с которым она, бедная женщина, произносила это «ИМ».

Но никто Гришу на работу не брал. Разнорабочим в гастроном на углу его сначала приняли, но на другой день директор, энергичная женщина с перекрашенными помадой крупными губами, отведя желудевого цвета глаза куда-то в угол кабинетика с банками и смятыми картонными коробками, сказала: «Ну, мы вас взять, товарищ Кафкан, на эту ставку не можем, денег нет, ставка ликвидирована». Гриша после этой содержательной беседы, возвращаясь домой, повторял «ставка, профессорская ставка, конечно, нам профессора ни к чему, товарищ глупый Кафкан».

Так продолжалось две или три недели, тучи над ним сгущались. Гришу предупреждали все кому не лень: «Устраивайся, пацан, устраивайся, не играй с огнем». Даже участковый дядя Коля Ногин, словив его у табачного ларька, сказал глядя в сторону, он косил: «Смотри, парень, иди работать, иди на любую работу, нечего выбирать». Забот у него хватало, но Гриша относился к ним с некоторым легкомысленным и несерьезным вниманием, как будто чувствовал, что все обойдется и его ждет другая жизнь за зданием поликлиники и вне этого привычного двора с семью парадными в пятиэтажном кировском доме с черной лужей у входа в ЖЭК, которую подметала дворничиха проволочной метлой с характерным жестким и разбойничьим посвистом, от которого поеживались прохожие.

Интересно, что так все и было, все обошлось. Гришу взяли на хлебозавод грузчиком после звонка матери своей подруге по эвакуации в Свердловскую область, когда они жили с детьми в разгороженной занавеской большой комнате избы и ладили, как родные сестры. Подруга сделала карьеру по возвращении и стала заведовать кадрами на этом хлебозаводе и отказать матери не могла, да и не хотела. «Очень тебя, Лида, прошу, по краю мальчик мой ходит, по самому краю. Возьми его на работу». Лида не могла ничего забыть и мать просто любила и ценила. «О чем ты говоришь, Соня, ты что, чтобы я этого мальчика не взяла на работу, ты что? Ты в своем уме, пусть завтра приходит, он не пьет, конечно, у тебя?». После паузы мать ей ответила: «Какой пьет, какой пьет? Изредка бокал сухого, может быть, два. Спасибо тебе Лида, большое, не забуду никогда». А вы говорите, коммунисты.

Мать подозревала Гришу в пристрастии к алкогольному опьянению, «у нас в семье никто не пил и пьет, а ты что же», глядя на никакого, то есть совершенно в лоскуты сына, лежащего навзничь на диване, но она, конечно, не подозревала серьезности ситуации. Гриша обиженным тоном дал родителям слово, что ни пить, ни ссориться ни с кем на новой работе (престижной? спасительной?!) не будет, «что я, маленький, не понимаю, что ли». Отец добавил ему озабоченно, что «ты не знаешь, с кем играешь в игры, они серьезные очень люди, *рихтике газлоним*, понимаешь! они тебя упекут, ты и не заметишь».

Гриша за два года и четыре месяца почетной работы не пропустил ни одной смены, не выпил на работе с мужиками ни разу и не поссорился, хотя причины для ссор были, и не раз. Он научился не реагировать на слова и даже поступки, люди были как люди, как везде. Этому он научился, на самом деле, у отца, который относился к людям с непонятным смиренным терпением и каким-то неслышанным уважением. Он говорил пятилетнему мальчику Вите вы, называл соседа Аркашу, пропойцу и бандита, Аркадием Васильевичем, а хулигану Сане Цвету одалживал рубль или три, говоря, что, наверное, ему надо. «Вот умный-умный, а дает себя обмануть, как мальчик, с удовольствием, а еще Соломоном зовется», – говорила соседка, качая головой в оренбургском, конечно, сером платке. Но теплом, бесспорно.

Так вот, Аня. Она ему как-то сказала, что не любит фотографироваться: «Такой вот парадокс, фотографировать обожаю, а собственные фотографии терпеть не могу, рву на куски». И это при том, что художником она была явно хорошим, рука уверенная, задумчивая, взгляд ее был пронзительный, тщательный, хотелось скрыться от него. Это Гриша потом понял.

Она сообщила ему, как бы между прочим, что хочет побывать в двух местах в Европе: на площади Сан-Марко и на пляже Ла-Конча. Откуда, ну, откуда, скажите, все это берется в девочке из провинции?

Гриша не знал, где эти места находятся, и не стесняясь попросил ее рассказать, что и где. Она ничему не удивлялась, слушала только себя, как могло показаться. «Сан-Марко – центральная площадь в Венеции, а Ла-Конча – пляж в баскском городе Сан-Себастьяне на берегу Атлантического океана», – сказала ему Аня. Она не насмехалась над ним, не шутила по поводу знаний Гриши, «ну, не знает человек, ну и что, зато он знает другие места, правда!». Она была влюблена в него как кошка, если выразиться на языке кумушек, высиживающих

неизвестно что возле дома на скамье с утра до вечера. Преувеличение, конечно. Ну, какое влюблена как кошка? Ну, скажите? Взрослая зрелая женщина – и как кошка. В мальчишку?

Ничего с ней у Гриши и не получилось. Почему, неизвестно. Он вспоминал о ней редко, это не доставляло ему боли или переживаний, но оставляло царапины на сердце. «Получается, что все это было неправильно сказано», – произнесла она глухо в хвойном молодом лесу возле шоссе, ведущего в Рамот и Гиват Зеев, когда только прилетела и немедленно пришла к ним рано утром. Гриша поглядел на нее, мол, что ты имеешь в виду? «Ну, что любовь побеждает все: разлуку, болезни, даже смерть, это не так?». Ответа у него не было ни тогда и ни сейчас. Вообще, у него не было ответа ни на что. Гриша только твердо знал, что она лучше него.

Он только абсолютно не знал, что с нею стало, с кем она, что она, никакой информации о ней не имел и не искал ее следов. Удивительно, но почему-то никакой похотливой идеи и какого-либо скабрёзного намерения в связи с воспоминаниями об этой красивой и складной женщине, податливой, пластичной и горячей, никогда у него не появлялось. Никогда. Но, наверное, хватит о ней, какой бы она не была замечательной и прекрасной. Все прошло и помнится с трудом. Летим под мерный гул самолетных двигателей вперед в темной ночи, над серыми клубами облаков на дальний, дальний восток. Дальше уже, кажется, и некуда. Маршрут полета был разработан и выбран не им. Вот и результат: движение в никуда.

По проходу между креслами опять прошел первый пилот, теперь уже в обратном направлении. Он шел несколько боком, как сторожевой корабль среди льдин, лицо равнодушное, усталое, презрительное, никаких любезных улыбок и кивков. «Идите, господа хорошие, сами знаете куда», – говорила его помятая посреди ночи физиономия. Куда это он все ходит, этот надменный властный хлыщ? – подумал спросонья Гриша, отмахнулся от этого вопроса. – Какое мне дело вообще до него? – и опять заснул. Из-за шторки выглянуло хорошенькое лицо стюардессы и тут же скрылось. Вот и весь секрет.

Теперь Гриша завтракал в новом месте проживания на самом дальнем от континента острове Сиама, ананасом, точнее, ломтиками его в неограниченном количестве. Только ешь. «В ананасе есть все, что нужно человеку», – повторял ему нынешний наставник в жизни и в отношении к ней. Хм-хм. Он, этот тощий, жилистый, темно- и гладколицый парень, делал акцент на правильном питании. «Мы не едим мертвых животных, только растительная пища и ничего жареного, это понятно. Мы не грифы», – говорил он сурово и быстро. Напор у него был невероятный в речи. Невозможно было с ним не согласиться. Гриша был, конечно, непростой человек. У него был лишний вес, который мешал ему, по мнению и словам отдельных близких людей, жить полной и насыщенной радостями жизнью. Они были уверены, что жизнь наполнена радостями, это сказывалось оптимистическое воспитание и образование, главенствовавшие в то время во всем мире.

Еще наставник, личный сын его, говорил с озабоченным видом, хмуря худое, чистое лицо свое, Григорию Соломоновичу, что в этой азиатской стране в строительстве главенствует идея ступенек, ступеней, приступок и тому подобное. «Нужно все время быть настороже, потому что можно споткнуться и упасть в любую секунду, уже были тому примеры, все время смотрите себе под ноги». Повторял этот человек. Он был искренен во всем.

В правоте его слов Гриша смог убедиться в первый же день своего пребывания на острове, разбив пальцы ног, дважды оступившись и упав на приступках при входе в самые обычные места, например, в ресторан. Он не злился на себя, его раздражало это неуверенное владение телом, поиски равновесия и зависимость от других людей, самых близких. Особенно от близких.

Потом Гриша посмотрел в компьютере информацию о грифах. Их было несколько видов. Белоголовый сип его привлек больше других. Лысая маленькая головка, голая шея, гнутый клюв убийцы, открытый пронзительный глаз падальщика и пестро-темное оперение большой птицы с широкими крыльями – все выглядело отвратительно. Сразу видно было, что это тот

вид, который питается падалью, никакие трупные бактерии их не берут, им на все наплевать абсолютно. «Нет, конечно, я не гриф из теплого края и никогда им не был и не буду», – подумал Григорий Соломонович опрометчиво.

Но это еще не все. Это было совсем другое и непривычное место со своим укладом и порядками. Разница во времени была четыре часа вперед по сравнению с Израилем (и Россией тоже), Гриша засыпал с трудом, темнело быстро, мир вокруг был полон звуков, движения и запахов. Часто шел дождь, иногда очень сильный, свистели лягушки в бурной реке за строениями, гудел мокрый кустарник, гулко хлопая крыльями по темному воздуху, носились ночные птицы. В общем, райское место, натурально райское, как сказал сынок Гриши, но беспокойное. Точно, беспокойное.

Однажды Гриша проснулся в половине четвертого, иначе говоря, в 23 часа 30 минут, если судить по часам в Петах-Тикве или, скажем, Нетанье, не говоря о Иерусалиме. Поднялся, попил воды – «надо очень много пить здесь», рекомендовал ему сын решительно, как вбивал в него слова – и включил свет. На подушке, отодвинутой им в сторону во сне, неподвижно сидел маленький лягушонок с шустрыми выпуклыми глазками. Никакого отвращения или умиления Гриша не испытывал, он был не тот человек, хотя часто, не умея остановить слезы, плакал в кино, переживал. Некоторые люди лягушек едят.

Гриша не заплакал. Он осторожно сел под любопытным взглядом, взял полотенце с тумбочки, набросил его на лягушонка и осторожно вынес на темную улицу с горящим фонарем у дорожки, ведущей в сауну. Возле кустов Гриша деликатно стряхнул лягушонка на землю и тот, блеснув глазками на спасителя, решительными мягкими движениями – прыг-прыг-скок – высоко ускакал в ночь, издавая торжествующие звуки победы.

В комнату Гриша уже не вернулся. Он прошел по асфальтовой мокрой, тускло освещенной дорожке до столовой. Там никого не было, кроме дремавшей за стойкой местной девушки, почему-то оставшейся на рабочем месте, а не отправившейся отдохнуть домой. Столовая не работала, но кипятилок был, кофе, чай, разные травы в банках рядом с кипятильником ожидали своей очереди. Гриша кивнул девушке, которую звали Лотос в переводе с тайского, «простите меня, старика», та улыбнулась спросонья, «ну, что вы». Каждый из них говорил на своем языке, они поняли друг друга отлично. Он взял кружку, металлическими щипцами зацепил щепоть имбирной стружки из фигурной банки, добавил несколько листьев мяты и залил все кипятком. Дух пошел замечательный из кружки, даже голова закружилась у Гриши.

Он отошел от стойки, сел, сторбившись в стороне за столом над чаем, и поглядел наружу на шумный черный лес, на дождь, переставший быть теплым. Стен в столовой не было, только несущие столбы из бамбука и лиственная крыша. Гриша начал осторожно пить воду, завидуя себе. Невидимая жаба низким баритональным голосом издавала ритмические звуки, схожие с работой какого-то неизвестного музыкального инструмента.

Гриша воспринимал свою жизнь как цепь счастливых случайностей и совпадений. Кое-что сошлось – и в результате получилось то, что получилось, а получилось, по его мнению, нормально, чтобы только не сглазить. Так думал он. Мог позволить себе легкомысленный оптимизм. Хотя годы уже начинали брать свое.

Безупречный порядок местной жизни вызывал в нем уважение. «Совсем не похоже на Израиль, и уж тем более, не похоже на Россию», – думал Гриша. Он ведь, по сути, был знаком только с Израилем и Россией, да и то, особым знанием не обладал, так, верхи все.

В самолете он спал без тревог и без забот, не помнил ни о чем. Опять пошло бесконечное казино, возбужденный голос человека, без особого успеха игравшего в «блэк джек». Без перехода начался бокс. Дрались два чернокожих тяжеловеса, кажется, это были Форман и Али, они были равны по силам, непонятно было, кто побеждал, таким боксерским искусством и такой волей оба обладали. Они обменивались серьезными сериями ударов по корпусу и голове, после

которых выжить, в принципе, обычному человеку было невозможно. Но эти люди оставались на ногах и продолжали боксировать все пятнадцать(!) раундов.

Гриша немного понимал с молодых лет в боксе и по инерции отдавал предпочтение Али, который был быстрее и изощреннее, по его мнению. Хотя Форман, плотный литой джентльмен, созданный из огромного куска эбонитового дерева, был хорош и могуч, как вечное и невероятное скульптурное изваяние самому себе. Или это был не тот Форман, или это был другой Форман? Неизвестно.

Затем опять пошло казино, потом мясная туша, которую ловко разделали и положили жариться на мангал. В Узбекистане, в тандыре, герметически замазанном глиной, коптили куски баранины, кур, обмазанных копченой паприкой. За раз, то есть полтора часа, получалось килограмм 60–80 мяса. Таких тандыров было шесть, они работали все время, с утра очередь страждущих мясоедов, то есть всех подряд граждан поселка или городка, выстраивалась за первыми порциями. В кадре сбоку молодой мужчина, которого Гриша не знал и не видел никогда прежде, объяснял происходящее, ему откладывали на тарелке большие куски баранины, он продолжал вещать и объяснять, сглатывая слюну со словами «пусть пока остынет». Вообще не жарко, все в зимних куртках. За людьми видны во дворе островки снега. У ведущего был явный акцент и нагловатая уверенность жителя столицы в описании провинциальных радостей.

Рассказчик, не помыв рук, стоя, жадно и не слишком опрятно откусывал куски обжаренного мяса, держа его с двух сторон и повторяя: «Думаю, что это лучшее барбекю за всю мою жизнь». Потом он что-то вспоминал и добавлял: «Для вас, Григорий Соломонович, отложено две порции, вы не волнуйтесь, главное, не нарушайте вашего поста». – «Да уж, с вами тут поддержишь пост», – ворчал Кафкан за кадром.

Гриша жил теперь на далеком острове в джунглях под горой, в оздоровительном центре, в котором на удивление было много клиентов, прибывших сюда с разными целями, о которых сразу и не расскажешь. Женщин и девушек было больше, чем мужчин. Был небольшой бассейн, дамы медленно и вразвалку ходили вокруг него в смелых купальниках из двух частей. Кафкан боялся ослепнуть и отводил глаза на шумящую в грозу зеленую гору на заднем плане. Он пытался читать хорошую книгу прозы И.А. Бунина, но у него не получалось. Не получилось у него читать и «Миргород» Николая Гоголя. Он закрывал книги просто на середине фразы, не понимая того, про что они пишут, эти русские авторы. Солнце мешало ему, головокружение и мысли о безумной случайности происходящего вокруг мешали ему.

Он смотрел вокруг себя с веселым, как ему казалось, любопытством. Майя, пристально наблюдавшая его уже сорок шесть лет, ревниво произносила: «Все жалуешься на возраст, а глаз коричневым горит, собран, напряжен и внимателен, как юноша, меня не обманешь, дорогой, и себя тебе тоже обмануть не получится». Германские и скандинавские девушки с соломенными волосами, обнаженные до невозможного минимума, точнее, одетые чисто формально, ходили мимо них в сторону зала, где они занимались йогой. У них был месячный курс, по окончании которого они получали диплом преподавателя. Они были собраны и целеустремлены, прекрасны, по сторонам не глядели, чресла их двигались в трех плоскостях, они косили глазами в непонятном направлении. Грише было много лет от рождения, он прихрамывал и обладал лишним весом, но, несмотря на все это, некоторый женский интерес к себе ощущал. «Конечно, я юноша, только лет мне ты знаешь сама сколько, не хуже некоторых, а про вес я и не говорю», – отвечал ей, вздыхая, Гриша. Была во всем этом несколько кокетливом обмене словами с женой какая-то привычная игра.

Ходили все здесь босиком. Просто так, по-свойски, шлеп-шлеп-шлеп и еще раз шлеп. И ничего, никто не удивлялся. Тайские девочки непонятного возраста, как бы вполне зрелые для жизни, шмыгавшие по тропинкам с вениками, ведрами, белоснежными простынями на смену в номерах и тряпками, шаркали шлепанцами без задников, улыбались и кланялись: *капункан*, господин хороший. Конечно, *капункан*, а что же еще? *Капункан*. Они были все небольшие,

любезные, улыбочивые и чудные. Многообещающие, стоит добавить. Кафкан всех приветствовал, смиренно складывая у груди ладони. Местные складывали ему ладони в ответ перед собой. Все это не вызывало одобрения Майи, которая бурчала что-то в осуждение и отворачивалась в сторону.

В его тогдашнем сне с перерывами почему-то было много Узбекистана, плова на шестьсот порций, рынков в Ташкенте и Самарканде, и так далее. Шел пар и дым с сильным запахом среднеазиатской кухни, от этого сна. Запах этот, резко отдающий бараньим салом, оседал на Кафкане. А еще был к плову салат из порезанных тончайшими ломтями помидоров и лука, посыпанный перцем и листьями базилика, и, конечно, посоленный, и все. «И называется это *ачик-чучук*. Помидоры режут на весу, острейшим ножиком, это все делает уважаемый *ошпаз* Аким-аке», – быстро нашептывал Кафкану на ухо бывший коллега Макс И. Л-е. Происхождение этих снов было необъяснимо и непонятно. Впрочем, Кафкан и не думал никогда над всем этим, ну, сны и сны, это его не занимало.

После плова и салатика неожиданно пошел московский летний пейзаж из старого советского великого фильма, и Армстронг, гениально, как всегда и все, исполнил песню Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете». Голос за кадром произнес: «Машину посла Швеции к подъезду» – и Гриша тут же проснулся в синеватой самолетной ночи, лицо его было в слезах...

Он не сумел вспомнить улицу в Москве, по которой к подъезду подъезжали машины дипломатов. Он и в Москве-то был до отъезда один раз в течение одного дня, получал документы на выезд в голландском посольстве. Они с отцом еще успели до ночного поезда в Ленинград съездить в общежитие ГОСЕТа<sup>1</sup>, где жила вдова еврейского драматурга Залмана О., которого родственники и близкие знакомые звали Зяма и которого осудили на двадцать пять лет за космополитические взгляды и многолетний шпионаж в пользу поверженной Японии. Он был наивный и очень добрый человек, всегда ратовавший за Советскую власть и прославлявший ее безгранично. Драматург О., седой плечистый красавец с обложки советского театрального журнала, был дядей матери Гриши Кафкана. Умер он в невыносимом для жизни человека лагере к северо-востоку от Иркутска в невыносимом 1952 году. После него остались вдова Ида и дочка Роня. В пятьдесят седьмом году его реабилитировали. Они остались жить в квартире при Государственном еврейском театре.

Был веселый месяц апрель с тающими кусками неубранного московского снега и бегущими вдоль тротуара ручьями черной воды. Солнце лежало на домах и улицах сплошным желто-белым, слабо согревающим покровом. Парадная, в которой жила Ида и ее дочь Роня, была абсолютно темная, без единого солнечного луча или случайной лампочки. Пока добрались до третьего этажа, Гриша, обжигая пальцы и чертыхаясь, сжег десяток спичек.

Он позвонил в дверь под номером 6, которая открылась очень быстро. На пороге стояла старая женщина с растрепанными седыми волосами. Она была как бы сморщенной, на ней была короткая ночная рубашка из серого полотна, голос ее был пронзительным и высоким. Все выглядело довольно жутко. «Кто вы такие? – спросила она. – Что вам нужно?». Отец не смутился, он уже видел и пережил подобные сцены в своей жизни. «Я Соломон Кафкан, а это мой сын Григорий. Помните меня, Ида?» – спросил он чужим хриплым голосом. Ему было, конечно, все это неприятно. Овальное зеркало в узкой прихожей показало его огорченное лицо, старик не ожидал все-таки подобное увидеть. Можно было, конечно, оторопеть от вида, одежды и произношения некоторых звуков этой дамой.

Они встречались двадцать пять лет тому назад, чуть больше, в сорок девятом году, когда Соломон вместе с женой Соней проезжал через Москву в феврале по дороге из отпуска. Он всегда останавливался в столице, встречаясь с родственниками, которых очень любил. День-два посидеть, поглядеть на них, послушать – и можно домой. Родные лица успокаивали и утешали.

---

<sup>1</sup> ГОСЕТ – Государственный еврейский театр.

В Минске уже убили по приказу Хозяина режиссера Михоэлса, главу ГОСЕТа. Во время войны Михоэлс по поручению Хозяина съездил в Америку, где собирал деньги у евреев. Он привез оттуда много золота на нужды Советской страны. Хозяин благодарил его за эти дары. Что-то пошло здесь не так, стало совсем непонятно. Тайна казалась непостижимой. Ужас настиг и накрыл людей.

Соломон, суровый человек, склонный к упрямому, непреклонному религиозному фанатизму, не судил их. «У каждого из них всегда есть шанс», – говорил его взгляд, которым он обводил всех сидящих за столом. Он, беспартийный старомодный мужчина пятидесяти лет от роду, сидел за накрытым столом, сопровождаемый уважительными взглядами родных, и молчал, сложив руки перед собой. Как ни странно, все эти прогрессивные, современные, образованные мужчины и женщины ждали от него чего-то вроде совета или наставления на жизнь, искали у него ответа и объяснения происходящему сейчас и здесь.

Драматург О., дядя жены Соломона Сони, отозвал его жестом в другую комнату, которая находилась за плотной шторой. Соломон всех родственников любил, но О. был самым любимым, необъяснимо. Двери не было, она была не нужна. Они встали у окна и О. тихим хриплым отчаянным шепотом сказал: «Мне пришла повестка на завтра в МГБ, на 9 утра, очень тревожно, они ведь ничего так просто не делают, Соломон. Что делать, а?». Выглядел О. очень плохо, ужасно выглядел, если честно. У него было серого цвета лицо, трясущийся прямоугольный рот, с как бы исчезнувшими в пещерной тьме зубами, только глаза были молодыми. Руки он держал в карманах брюк, как нашкодивший малый.

– Я думаю, что ты должен прямо отсюда уехать с нами на вокзал и поехать в Ленинград. Поживешь у нас, Зяма, переждешь пару месяцев, а потом все сойдет на нет, искать тебя у нас не будут. Кому ты нужен, скажи?! – уверенным голосом произнес Соломон. В углу негромко работало радио, и красивая киноактриса Марина Ладынина неумело пела, задумчиво улыбаясь и качая головой с пшеничными волосами: «Каким ты был, таким остался, орел степной, казак лихой». Хозяин этого всего вокруг и рядом назвал потом фильм с песней про орла степного «Кубанские казаки».

Залман О. смотрел на Соломона с надеждой. Вслух он произнес, голос дрожал: «От них не спрячешься, все вот здесь держат». Залман сжимал правый кулак в костлявую боевую единицу и с тоской, не без безнадежной грусти повторял: «Все под контролем у них, все видят и все знают, тараканы усатые, Соломон». Он не чувствовал опасной схожести своего определения с большим Хозяином, которого обожал и боялся до дрожи, и неизвестно, чего больше.

– Делаем так. Соберись, Зяма, ты же мужчина, не надо бояться, ты уедешь с нами и спасешься. Сейчас ты уходишь, никому ничего не говоришь, едешь на вокзал, покупаешь перронный билет и ждешь нас у входа. Мы приезжаем через минут сорок и уезжаем в Ленинград, ты понял меня?! – голос Соломона звучал убедительно и сурово.

– Почему ты это делаешь, скажи. Ты не боишься? У тебя жена, семья, что тебе моя жизнь? Ведь можно и пострадать, и серьезно, – пробормотал Залман О. Несмотря на тревогу, он и правда недоумевал, хотел понять мотивы поведения. Любопытство было важным двигателем жизни фольклориста Залмана О. Чтобы не было недоговоренностей, на сайте истории еврейской культуры сказано о нем так: «Имя фольклориста и драматурга О. обессмертило создание им жизнеутверждающего спектакля-феерии «Фрейлехс» в постановке все того же С.М. Михоэлса, человека похожей судьбы». Заметим справедливости ради, что Соломон Кафкан пытался бы спасти его, драматурга О., и без пьесы «Фрейлехс», и без бессмертия его.

Жизнь в стране Советов была не такая и холодная, скорее, привычная, минус четырнадцать градусов. Валил снег. При взгляде с третьего этажа, на котором жили родственники, шла своим размеренным ходом, тихо и спокойно.

– Слушай меня, Залман. Ты уходишь, никому ничего не говоришь. Потом будешь задавать вопросы, все потом. Сейчас ты уходишь, всем говоришь, что у тебя срочное дело. Говоришь мало, ты понял?! Давай, встречаемся у касс на вокзале, торопись.

Соломон подтолкнул драматурга О. в спину, и тот вышел наружу, решительно шагнув. Удивление не оставляло его, потому что он очень хотел понять и разобраться во всем, несмотря на смертный ужас, морозивший душу. А разбираться здесь особо было нечего. Все было просто. Это просто было доброе дело, называемое у евреев *пикуах нефеш*, или спасение чужой души. Ради этого спасения Соломон, наученный этому с малых лет и вскормленный матерью этим, и вел себя так, а не иначе. Это все было сильнее страха за себя.

Через час они встретились у касс. «Все верно, Зяма, пойдем с нами, я все улажу с проводником, не волнуйся, ты просто молодец», – сказал Соломон. Они вышли на перрон. Соломон нес два чемодана. Залман оглядывался, он не был спокоен. Несколько офицеров с женами шли вместе с ними к своим вагонам.

У одиннадцатого вагона Соломон остановился и направился к переминающейся у распахнутых дверей проводнице в высоких ботах, договариваться. «Подожди, – сказал Залман негромко. – Я не еду, Соломон. Я не буду бегать от них, моя совесть чиста. Я не враг, я – коммунист, я все им объясню».

Соломон посмотрел на него, ничего не сказал в ответ. Офицеры в каракулевых папахах, проходившие по перрону мимо в начало состава, смотрели на этих людей с брезгливым интересом. Что такое, совсем распоясались космополиты, ну, ничего, немного им осталось торжествовать, «разберутся органы, разберутся, Виктор Семеныч знает свое дело на отлично». Одна из женщин, державшая под руку своего тучного начальника, не удержалась и задержала взгляд цветных удивленных глаз на красавце О. чуть дольше положенного приличиями. Или узнала его по черно-белой фотографии на обложке, да-да, в журнале «Советское искусство» за 1937 год с подписью «Портрет фольклориста О.». Полковник уволок девушку в ботиках на каблучках за собой в спальный вагон. Она еще тревожно оборачивалась с дороги в голову состава на уронившего шапку с дорогим кожаным верхом на наст перрона драматурга О.

Соломон и Зяма О. пожали руки, обнялись и расстались. Кажется, лицо Залмана О. обледенело от слез. Не так и холодно было, чтобы замерзать лицу его, просто организм его застыл и обледенел. Соломон оставался в гневе и расстройстве из-за поведения этого человека всю ночную дорогу до Ленинграда. «Что-то я не доделал, не объяснил ему, вся вина на мне осталась», – эта мысль сводила его с ума и очень мешала. Он сам очень боялся всех этих советских организаций, брезговал упоминать их не только в разговорах, но и в мыслях. Одно слово, *газлоним*, *рихтике газлоним*, злодеи. «Оставил Залмана им на растерзание, а ведь мог спасти», – терзал, мучил себя Соломон Кафкан.

На другой день драматург О. подошел к девяти утра по вызову в МГБ к следователю Аничкину Д.К. Его без проволочек пропустили на входе трое стройных корректных офицеров, проверявших и контролировавших друг друга, гвардейская русская кость. Один сказал нейтральным строевым голосом: «Вам в четырнадцатый кабинет». Драматург О. без сопровождения поднялся пешком на второй этаж, провожаемый внимательными взглядами часовых, вооруженных пистолетами в застегнутых кобурах на поясе. Они все никого не боялись и не опасались, просто были настороже согласно уставу.

Драматург О. постучал и, услышав звонкое «войдите», открыл дверь. Несмотря на ранний час на столе горела лампа под зеленым абажуром, два окна были завешаны плотными шторами, человек в мундире быстро писал, не останавливаясь и часто макая деревянную ручку с металлическим пером в чернильницу перед собой. Он не поздоровался и не сказал драматургу О. ни слова, только небрежно показал рукой на стул возле своего стола, мол, сиди и жди. Зашел, не здороваясь, еще один мужчина лет тридцати семи и встал сбоку. Он был плотен, широкоплеч, лысоват и белес. «Хорошее лицо русского первопроходца, железного командира

ледовых походов», – подумал драматург О. В руках у первопроходца было почему-то мокрое вафельное полотенце. «Почему у этого офицера полотенце? – подумал любопытный О. – И почему оно мокрое, совершенно непонятно». Драматург О. не знал, кто из двоих является Аничкиным, а кто просто сослуживцем его или еще кем.

Сидевший за столом в мундире капитана аккуратно отнял перо от бумаги, протер его листком и сказал драматургу О.: «Ну, говори, будешь сам признаваться или сначала попросишь прощения, гад?».

– Я чист перед партией и народом, товарищ, – сказал драматург О. взволнованным дрожащим голосом.

– Я понимаю, значит, не хочешь, товарищ, говоришь, ладно, тогда поговорим по-другому, – сказал с ленцой в голосе хозяин кабинета, совершенно без угрозы, – ты сам этого хотел.

Удар сбоку по скуле и правому уху прилетел драматургу О. от второго офицера, белесого и лысоватого. Удар был очень силен и быстр, О. свалился со стула и упал лицом в пол. Через пятнадцать минут О. очнулся от боли. Он лежал на боку, голова его была в лужице густой крови, лицевые кости переломаны, брюки его тоже были в бурой жидкости. О. не чувствовал боли, несмотря на побои. Сознание в нем горело слабым огнем, который не обещал скорого пробуждения. Он был стопроцентным инвалидом. Через два года после этого дня драматург О. умер в лагере на станции Вихоревка близ Тайшета в Кемеровской области от почечной недостаточности, как говорилось в сообщении, полученном его женой. О его реабилитации ничего не было известно Соломону Кафкану, который не интересовался этим фактом чужой биографии никогда. «Да будьте вы все прокляты, мерзавцы и злодеи», – думал он зло, прекрасно помня, что проклинать никого нельзя, есть запреты. Но вот иногда он срывался.

Все время до своего выезда из СССР Соломон два раза в год переводил Иде О. деньги. Ни разу она его не поблагодарила за это, ей было не до благодарностей. И потом она, с таким тяжелейшим жизненным опытом, боялась навредить Кафкану, потому что, кто знает, где кончается благодарность от семьи Б-г знает кого и где начинаются неприятности для добрых людей в этой стране.

Соломон Кафкан не соответствовал тому образу, который существовал в сознании многих людей. Он не картавил, не суетился, был умен, как может быть умен простой человек, не выпендривался, не считал себя умнее других и так далее. Однажды Гриша Кафкан, внимательно наблюдавший за поведением отца всю жизнь, увидел его растерянным. Когда приземлились в Вене, после двух пересадок в Варшаве и Будапеште, и сошли по трапу на летное поле, всю прилетевшую ленинградскую группу встретил маленький сухой человечек и сказал высоким голосом, ни к кому не обращаясь и пропуская букву эр: «Я из Из..аиля, п..иветствую вас в столице Авст..ии. Все садятся по оче..еди в автобус, мы едем с..азу в замок возле авст..ийской столицы, не ..асходиться, нас сопровождает полиция, ох..аняет от в..ага». Он был суетлив, заискивал перед полицейским чином и не отвечал на вопросы. Соломон спросил его доверительно: «Где здесь можно помолиться, господин хороший? Уже время пришло». – «Сейчас не в..емя для молитв, уезжаем в замок, все потом, не надо лезть попе..ек батьки, вы в надежных из..аильских ..уках». Человечек был не очень привлекателен, и мать внятно сказала: «Неужели нельзя было найти кого-нибудь попримичнее». Соломон посмотрел на нее осуждающе, но никак не комментировал. Настроение у него испортилось от этого шустрого мужичка и его слов. «Ну, что болтать зря. Они мне ничего не должны, ничем не обязаны, вон как стараются, и в пиджаках еще», – говорило его белое лицо, которое не привыкло к новой жизни.

Автобус был комфортабельный, лакированный, таких в Ленинграде ни Соломон, ни сын его Гриша и не видели никогда. Они расселись с некоторой опаской, боясь запачкать что-нибудь, Гриша сел у окна, австрийский автоматчик в красных шнурованных башмаках, трясая заметным брюхом, пошел тяжелым шагом параллельным автобусному курсом. «Ну, вот, приехали, завтра будем в Иерусалиме», – пробормотал Соломон и, закрыв глаза, что-то забормотал,

молился он. Все так и было, только в Иерусалим они прилетели послезавтра, потому что не набралось достаточно людей для заполнения самолета на Израиль. Советы все-таки не были еще щедры на разрешения на выезд, это произошло с ними позже.

До замка доехали за сорок минут. Проехали, нигде не останавливаясь, даже на перекрестках, центр города. Мать сказала значительным голосом: «Красавица Вена, не могу налюбоваться». Покой сопровождался сиренами полицейских машин, которые ехали впереди и позади автобуса. «Молодцы австрийцы, береженого бог бережет, смотри, как охраняют австрийцы, Шломо, как стараются», – сказала мать. Соломон не реагировал, наслаждался с закрытыми глазами покоем. Он, совершенно не будучи демократом, давал жене в рамках семейных отношений полную свободу самовыражения. «А ведь Гитлер и Эйхман австрийцы, вы это знаете?» – спросила мать задумчиво. «Я это знаю, мама, но то, что ты мне напомнила это, очень важно», – сказал ей Гриша негромко, он был ироничный молодой человек. Соломон не реагировал, он был толерантен, но не очень терпелив. Иногда это было заметно. У него было лицо белого цвета, как у многих его земляков, он родился в другом месте, на самом краю империи, но жизнь прожил в Ленинграде. Что отразилось, конечно, на его облике. Поведение у него было все-таки то самое, белорусское, сдержанное, умеренное, никакого публичного выражения чувств, слезы там, смех и прочее. Гриша не замечал этого за все годы ни разу, только, кажется, как-то незнакомо скривилось его лицо, когда он шагнул с трапа на летное поле в Лоде.

Когда к Соломону приходил его друг, абсолютно лысый, такой же тихий и скромный, непохожий внешне на него, отсидевший свою десятку под Котласом ювелир Гликман Марк Семенович, отец явно был рад гостю, с которым они обсуждали вначале некоторые вопросы внешней политики Советской страны, отношений московского МИДа с Иерусалимом, поправку Джексона-Вэника («большие, благородные люди, чех и норвежец, кстати, а какие герои, а!»), отмену налога на образование при выезде из Союза в *Эрицсроел* и так далее. Потом пили чай с сушками и, наконец, принимались за главное, за комментарии к Талмуду Раши (великого наставника из французского города Труа), за добавленные им тут и там слова и даже буквы, их значение и смысл. . . И лица их, старые, битые, жеванные жизнью, пожилые семитские лица были наполнены счастьем познания, учения, предназначения и просто обыкновенным, невыразимым простыми русскими словами счастьем.

Уже на острове, в очереди к зубному врачу – у Гриши прихватило коренной зуб – он забыл кошелек на кресле в зале ожидания. В кошельке, подаренном ему на юбилей, было шестьсот евро, банковская карточка, пенсионное удостоверение и еще что-то достаточно важное. Спихватились только уже в номере, двадцать минут езды в насыщенном левостороннем движении в густой темноте, в шуме черного леса и в желтых огнях костров, которые жгут из кокосовой скорлупы местные люди. Прошло уже три часа, и шансов на возврат почти не было. Уставший от очередей и тревог сын, вздохнув, («а что делать прикажете») повез его обратно. Девушка в кассе, увидев их входящих босыми, сбросивших обувь за порогом, приветливо улыбнулась, сложила ладони на груди и тут же протянула кошелек Грише – «пожалуйста, папа» – с ударением на втором слоге. Так они, местные, произносят: «мама», «папа», уважают и ценят старость. Гриша ответил ей *«капункан»*, спасибо, дочка, большое. Нет нужды повторять, что все было на месте нетронутое: деньги, документы, кредитки, все-все. Кошелек передал кассирше местный темнокожий парень непонятного возраста, который страдал возле Гриши в очереди с раздутой щекой.

И, конечно, пляжи и собаки, местные достопримечательности, главная гора острова, шестьсот тридцать метров, в диких тропических зарослях. Кокосы не произвели на Гришу особого впечатления. В несколько движений широкого ножа официант обрубал мягкую скорлупу, вставлял трубочку и подавал, низко кланяясь, тяжелый плод. Восторг Гриша не выражал по поводу содержимого, по слухам, необычайно полезного.

А собаки различных пород владели дорогами острова абсолютно. Они отдыхали на проезжей части и с лентой уступали дорогу машинам после настоятельных просьб. Поднимались с асфальта и, не глядя по сторонам, еле переставляя ноги, перемещались на обочину, оставляя узкий проезд для машин. У всех хватало на это препятствие терпения, только Гриша привычно ворчал и ругал животных: «Совсем страх потеряли, где полиция, интересно».

Полицейских он видел здесь за все время – три месяца, между прочим – однажды. У ларька остановилась патрульная машина, и важный мужчина в сером с тщательной прической: лаковый прямой, угольного цвета волосок – к подобному лаковому волоску, медленно на прямых ногах подошел к придорожному строению и купил с прилавка две бутылки сока цвета пшеничного поля у Ван Гога.

«Свежайший, манго, лайм, имбирь, хочешь, папа?» – спросил сын. Гриша не хотел категорически. Он не хотел принимать массаж, делать иглоукалывание, он хотел только покоя, возможно, бутылочку белого чилийского, которое было по цене имбирного сока. Но вино выпадало ему редко, хотя оторвать Гришу от бутылки было проблематично, общими усилиями, разве что.

От тайского массажа у Гриши подскакивало давление и начиналась сильнейшая головная боль, а про иглоукалывание и говорить нечего, полное забвение и депрессия. Вот он еще ценил острейший рыбный суп, сын всегда добавлял официанту вдогонку: «Одно чили», – что значило минимум перца и имбиря, и салат из папайи, который Гриша считал совершенным произведением местной кулинарии. Но рыбный суп, который вовсе не был ухой (и двойной или царской тоже), сын Грише разрешал очень редко, по большим дням и редким праздникам. Однажды, проходя по базару в неизвестном направлении, Гриша увидел возле прилавка с лягушками и еще чем-то подобным, как женщина неопределенного возраста толкла в каменной ступе перцы чили красного и зеленого смертельной яркости цвета. Зрелище было завораживающее. Кастрюля такого перца в ступку, и другого перца, ушат чеснока, сноп зелени, горсти имбиря, лайма, еще чего-то подобного и неизвестного. Масштабы работы этой дамы восхищали. Затем она добавила в ступу пригоршню соли, бурой жидкости... Снисходительно улыбаясь причудам белых людей, женщина с пестиком и ступкой отвлеклась и, зачерпнув пластиковой ложкой от своего творения, протянула его Грише. Сын отвернулся, как бы не видя нарушения режима, один раз не в счет, хотя как сказать. Эта ложечка с бурым трехграммовым содержимым была сокрушительна не только для поста, в котором существовал Григорий Соломонович уже третью неделю, но и вообще для любого режима питания, любой диеты абсолютно.

Много лет назад на полуострове Синай, когда он еще принадлежал Израилю, тогдашний еще резервист Гриша Кафкан видел убитого выстрелом из автомата М-16 верблюда. Тот лежал недалеко в жесткой траве подле полосы мокрого песка побережья Средиземного моря. Выходное отверстие от пули в шерстяном боку верблюда было размером с аляповатую советскую праздничную тарелку на первый *седер Песах* в их ленинградском доме. Но дело не в *седер Песах* неизвестно где и в непонятно каком диком *галуте*. Реакция Гриши на съеденное походила на то чудовищное выходное отверстие от автоматной пули калибра 5.56 мм. Иначе говоря, он был склонен к потере пульса.

От цвета и запаха этой ядовитого цвета массы можно было действительно потерять сознание. Для Гриши это переживание тоже было значительным и сильным, но не настолько. Все же он видел и даже участвовал в употреблении в далекой таинственной стране, в городе на берегу стального цвета моря, денатурата, столярного клея, одеколona, олифы и чего только нет. Без фанатизма, конечно, все было очищено от вредных добавок синеватого радужного цвета, но было это в его жизни, было. Перец с зеленью на рынке в островном городе Тонг Сала был посильнее денатурата под рукав и лопать хлеба с крупной солью, признаем. Улыбающаяся дама с глубокими темными морщинами на лице и шее, с пестиком в руках и ступкой, наполненной

чудовищной смесью толченого перца, имбиря, лайма и прочего, посмотрела на «папа» с интересом и почтением, почти восторгом. Сын тут же увел отца от греха подальше, крепко держа его под локоть. Они пропустили семенившего мужичка с тележкой, наполненной кукурузными початками, луком, кочанами капусты, огурцами, и пошли дальше к стоянке под ясным, так сказать, тайландским небом, в вежливой толпе зевак и обжор уже без помех.

И, конечно, пляжи.

Жена Гриши, по неясным причинам (все-таки, наверное, безделье, что же еще) решила заняться историей жизни своего отца, умершего десять лет назад. Все это зрело в ней достаточно давно. Отец ее был крепкий, молчаливый человек, всю жизнь пахавший в буквальном смысле слова фермером на юге еврейской страны, ставший вегетарианцем по настоянию врачей. «Года не протянете, если не прекратите есть неизвестно что», – постановил живший по соседству с ним профессор-кардиолог, бывший земляк из «несомненно святой», по его мнению, Галиции. Отец Майи думал иначе, ничего профессору не возражал, держал свое мнение и все свое при себе, жизнь научила. Он был вообще железный человек, этот отец Майи. Он был псевдоатеистом, скрягой и молчуном. Его звали Зелигом, в Израиле он не позволял сокращать его имя, как принято у местных экономных на звуки людей.

Детей у него было числом шесть, что-то он кому-то доказывал. Дело было в прибрежном городке, севернее сектора Газа, во временном перерыве между военными кампаниями и войнами. «У меня шестеро детей, мне нужно их поднимать, понимаете, профессор?!» – сказал отец. Врач кивнул, что понимает. «Я согласен, буду веганом, мне нельзя уходить так рано». Врач опять кивнул. Физические нагрузки у отца Майи имелись в достаточном количестве, так что с этим вопросом проблем не было. Он прожил после решения о спасительном питании почти сорок лет, а точнее, тридцать девять. Отец Майи посвятил свою жизнь спасению и сделал все, чтобы быть здоровым, не болеть и не страдать перед смертью.

В прошлом, за много лет до этого, отец Майи в тринадцатилетнем возрасте искал в состоянии истерики свою мать осенью 1942 года на окраине поселка городского типа Тлусте, что в Тернопольской области. Он был на работе, куда его определила немецкая оккупационная власть, а мать осталась дома в гетто. Когда все к вечеру вернулись в Тлусте, то узнали, что утром была проведена акция по поимке и уничтожению евреев гетто. Их находилось там много, несколько тысяч, свезли со всей округи.

Отец Майи бросился искать свою маму. Он прибежал, задыхаясь от волнения, страха и ужаса, на окраину городка. В овраге у городского кладбища уже никого живого не было. Овраг, окруженный сплошным лесом, уже начавшим желтеть, приближался октябрь, был присыпан свежей землей, которая неритмично двигалась вверх-вниз от смертного дыхания застреленных(?) людей в братской могиле. Тут же неподалеку, в сточной канаве, отец Майи очень быстро и, наверное, случайно, нашел свою мать. Она лежала лицом вниз, была мертвой, одна пуля из немецкого пулемета попала ей в грудь, и она умерла. Она не изменилась и выглядела живой. «Я не защитил маму, не спас ее, горе мне и позор мне...». У нее были те же скулы, те же открытые глаза зеленого цвета и те же веснушки, только кожа ее на лице стала блее, под глазами появились глубокие круги, она не дышала. Головной платок сбился на шею, открыв мертвое лицо.

Отец Майи, по имени Зелиг Бойм, однажды потом сказал дочери, когда начал изредка говорить с ней, что он не понимал всего того, что произошло с его матерью тогда. «Моя мама, Майя, умерла, ей было тридцать пять лет, меньше, чем тебе сейчас, дочь, у нее были веснушки, зеленые ясные глаза, ее убили, это я знал точно», – он говорил негромко, сильно наполняя слова небывалым значением и смыслом.

Все-таки этот остров и все, что в нем было, вместе с джунглями, кроткими людьми, сильными дождями и ночными грозами, утомляли. Хотя чем заниматься Грише было, и он был занят делом, но привычки все равно брали верх над ним.

Сын отвез его в город, где высадил у чистенького кабинета. Здесь делали маникюр, педикюр и женские прически. За низкими домиками в некотором отдалении от них густо росли деревья и кусты. Мужчин здесь не стригли. Девушка развела гибкие руки и сказала высоким голосом, поклонившись и опустив глаза в пол: «Здесь не для мужчин». Но позвала невысокую подругу, которая, осторожно придерживав Гришу под руку, усадила его в кресло. До этого Гриша успел снять пластиковые туфли и шагнул босыми ногами на холодный пол из неведомого материала удивительного салатного цвета, с удовольствием чувствуя босыми ногами нежное покрытие его.

Пожилая дама в цветном платье, сидевшая за столиком, улыбаясь, оглядела Гришу, кивнула ему и радостно приветствовала его. Сын сказал Грише, что здесь одалживают деньги под проценты. «Чего только не бывает на свете», – подумал Гриша. Этот светлый зал не походил на лавку процентщика (процентщицы) никак.

Гриша расслабленно сидел в кресле, опустив ноги в таз с водой. Видения сопровождали процедуры, которые совершала с ним молчаливая работница в светлом фартуке. Он как бы увидел всю сцену со стороны, она его удивила. Гриша был одет в кадре немого фильма в костюме горчичного цвета из толстого сукна, в белую рубашу с чернильного цвета сбившимся набок галстуком, и растерянно смотрел на то, как невысокая женщина с квадратной фигурой, склонившись над пластиковой ванной с водой, аккуратно обрабатывала пальцы его ног. Сбоку им светило солнце, на тумбочке рядом с Гришей стояла бутылка с темным и, по всей вероятности, крепким, зеленого цвета напитком. Пустой граненый стакан ожидал наполнения.

На Гришиной голове была нахлобучена мятая черная шляпа с узкими полями, которая чудом не спадала с его упрямого крутого затылка. И он говорил сыну старческим каким-то плюшевым и звонким голосом: «Всем временно находящимся в этой чудесной маникюрно-педикюрной дамской парикмахерской, налей-ка им всем, сынку, щедрой рукой, пусть захмелеют наши прелестницы». И сын, чуть смущаясь, наливал в фарфоровые плошки по пятьдесят грамм фруктовой водки, и даже девушке, ожидавшей своей очереди, налил, и она выпила залпом, кажется, от смущения, как тот алкаш в десять утра в лавке «Соки-Вина» с мраморным, уже загаженным подъездом у Нарвских ворот. И посыльный, приехавший с толстенным пакетом денег в конверте для бандеролей из мягкого картона, хватанул двойную порцию с налета, не поморщился и помчал дальше на тарахтящем мопеде. Его раскрытый пакет с деньгами бесхозно лежал на столе хозяйки, деньги выглядывали наружу, никто чужим не интересовался. Если не мое, значит этого нет для меня. Такой был принцип у людей. Место же было хлебное, как мы уже говорили.

– Прошу вас стричь мне ногти через раз, то есть пропуская пальцы, так положено, – попросил работницу Гриша. Она успокоительно и быстро улыбнулась ему, согласно покивала и продолжила трудиться по-прежнему. Конечно, английский у Кафкана был не идеален. Ее же английский, с торопящимися звуками, был просто чем-то невообразимым. Получался разговор двух немых людей. Но работу эта неказистая девушка делала свою тщательно и умело, любодорого смотреть. И совсем не больно, кстати. Сын сидел на диванчике рядом и не комментировал, не переводил, просто наблюдал. Потом поднялся и вышел прочь, ни слова не говоря. Через минут шесть-семь он вернулся со стаканом сока ярко-желтого цвета с нацепленным цветком бледно-фиолетового лотоса. Этот цветок, сопровождавший тайландскую жизнь во всех ее проявлениях, особенно восхищал Гришу.

Потом резко потемнело, на острове начался дождь, который с разной силой бушевал часов пятнадцать, окончательно прекратившись к позднему утру. Чахлый ручей при въезде в центр йоги и оздоровительного голодания (так называл эту трогательную гостиницу Кафкан-старший) поднялся выше человеческого роста от своего прежнего нулевого уровня, став пугающей стремительной пучиной.

Гриша не крутил головой во время педикюрного таинства. Просто отклонился в сторону и увидел профиль сына, который рылся в своем бумажнике, перебирая бумажки, купюры, кредитки, копии счетов и тому подобное. Гриша неожиданно для себя обнаружил, что этот дерзкий в иерусалимском детстве мальчик стал к тридцати семи годам похож на индейского вождя: смугл, строен, высок (за 194 см рост), очень худ, крепок, как мореное дерево, жилист, плечист, суров, непреклонен, опасен и добр, как его незабвенная и совершенно безумная в конце жизни бабка Года. Кстати, красавица в молодости писаная.

Отец Майи в последние годы очень хотел поехать на родину, в Карпаты и окрестности, посмотреть, оглядеться, поговорить, если будет с кем. Он был по-старчески упрям и настойчив ко всему. Кафкан относился к этому желанию всегда рационального и взвешенного в намерениях тестя с плохо скрываемым раздражением. «Ну, куда, ну, что вы, Зелиг, там забыли?» – говорил он не слишком осторожно. Переубедить этого человека с жестким темным лицом было невозможно. Но у Гриши Кафкана был аргумент.

После томительной паузы отец Майи, очень пожилой человек, обычно молчаливый и сдержанный, объяснял:

«Понимаешь, мужчина, я, когда немцы ушли, вернулся в штетл и сразу пошел к нашему соседу, которому отец отдал какие-то вещи и просил присмотреть за домом. Я сразу зашел в наш двор и, осмотревшись вокруг, увидел, что все почти на своем месте. Никого вокруг не было. Я зашел в сарай, где в углу отец спрятал ценные вещи из дома, и начал мотыгой отгрести мусор и землю.

Была великолепная весна, таял искрящийся ноздреватый снег вдоль тропки, птицы пели. Что-то заставило меня оглянуться. Позади меня стоял сосед, забыл его имя сейчас, все время помнил, а вот сейчас позабыл. В руках у него было ружье, он держал его в длинных сухих руках, наводил на меня. Он дрожал и говорил мне шипящим голосом: «Уходи отсюда, я тебя не видел и не слышал, не знаю тебя и знать не хочу, делать тебе здесь нечего, ничего твоего здесь нет, уходи откуда пришел». Он водил ружьем вверх-вниз, можно было подумать, что вот он сейчас выстрелит. Выглядел этот сосед, как вампир какой-то. У него были безумные вытарашенные черные глаза, висячие усы, прямые плечи и, судя по всему, сложные отношения с жизнью. «Уходи отсюда немедленно», – сказал он. Я ушел сразу оттуда, потому что я трус, знаю это с того момента, как нашел мертвую маму в канаве... Ничего с этим сделать нельзя.

Вот знаю, что наш сосед был общительный мужик до войны, пел песни, голос был сильный. Никак не могу вспомнить, как его звали. Адрес его помню наизусть, это Шевченко, 11. Наш дом был наискосок почти напротив, номер 6. А имя его не могу вспомнить, мне это мешает, я борюсь с памятью».

Свое имя отец Майи тоже не мог вспомнить.

Гриша Кафкан тогда был на двадцать лет моложе, он относился к отцу жены с уважением, ценил его. Дети отца просили его повлиять на него, «только ты сможешь его отговорить», Гриша отнекивался сколько мог, но, в конце концов, сдался. «Он уже звонил в турагентство, обсуждал даты», – сказала Грише жена.

Кафкан зашел к нему в комнату и присел к столу, за которым старик читал ежедневную газету.

Отец Майи отложил газету в сторону и сказал Грише таким тоном, как будто они расстались десять минут назад на полуслове:

– У меня были карманные часы, которые мне дал за пару дней до этого возле комендатуры выпивший (так и сказал, «выпивший») русский офицер, кривоногий, круглолицый пьяный освободитель. «На, – сказал, – пацан, пользуйся, будет тебе на черный день, обменяешь на хлеб, или сохрани, если сумеешь, для детей, на, бери еще консерву, рубай побольше, а то кожа да кости, станешь мужиком».

Подаренные Зелигу часы были тяжелыми и выпуклыми, они прикреплялись к поясу прочной цепочкой, на крышке был изображен медведь с бочонком. Я иногда открывал их и смотрел время. Я посмотрел на часы, когда отошел от сарая под наведенным ружьем хозяина. Прекрасно помню, что часы показывали 10 часов 35 минут.

Гриша собрался с духом и сказал старику одним духом, как можно убедительнее и солиднее: «Думаю, что вам не надо ехать туда, там ничего не осталось, все другое, страна другая тоже, не стоит этого делать».

– И ты туда же. Я должен туда съездить, я видал много, мне бояться нечего, – он, застывший упрямец, был убежден в том, что говорил.

И тогда Гриша, работник новостной службы на местном радио, сказал ему приготовленную фразу. Выложил упряму аргумент, ничего особенного, дело житейское, но Кафкан считал, что это убедит его. Они говорили по-русски между собой. Зелиг подумал, помолчал, отвернулся к окошку, которое выходило на дерево с зелеными еще лимонами, застилавшими от него утреннее солнце, и, потеряв шетинистую щеку мощной ладонью, медленно сказал: «Да, я верю тебе, Гриша, ты мне не врал прежде ни разу, не болтал языком зря. Отменяю поездку, не еду туда, не говорим больше на эту тему».

Что-то мелькнуло в его глазах при этих словах, так показалось Грише Кафкану, но заикливаться на этом времени уже не было. Не едет и не едет, это главное. Про свой прекрасно сработавший убедительный аргумент Гриша не рассказал никому, даже Майе. «Оставим это, я не скажу ничего никому, ничего радостного, главное результат», – быстро сказал он жене, когда она спросила, что и как. «Тоже мне секрет, успокойся, Кафкан». Она обиделась, кажется, но не очень сильно, Гриша ее все всем доказал, она им гордилась. Хотя отца она почему-то пожалела, женская интуиция сработала.

Она много думала и пыталась выяснить суть аргумента мужа, будучи любопытной донельзя. Но Гриша отстаивал секрет до последнего. Потом все улеглось. «Гришка мой упрямец, как и вся эта нация, на этом и держимся, разве нет?» – говорила она с гордостью. Никто ей не возражал. Нации не обсуждаем, потому что все про всех давно известно, что зря говорить, языком болтать, а? Но, если честно, она догадывалась о многом, женщины очень находчивы и сообразительны, как известно. Но о своих догадках она не говорила вслух, еще чего. А вдруг все не так! А?! И рациональны, конечно, как живые, теплые компьютеры, украшенные судорогами.

Так вот, Таиланд. Сиам по-старому. Люди с севера страны очень красивы. Там беднее живут. Вообще, все тайцы очень любезны, кротки, улыбки. Однажды, проезжая мимо спортивной площадки с баскетбольными кольцами, Гриша увидел ссору нескольких мужчин, коренастых и лобастых бойцов. Зрелище было неприятное, никто их не разнимал, кровь текла по их лицам и шеям, они не могли остановиться. Бились умело. Защищались хорошо, силы были равны у них. Вот тебе и кроткие, тихие тайские парни, поди знай.

Сын повел Кафкана в ресторан местной кухни. Заказал вегетарианские блюда, было очень много, разнообразно и очень вкусно. Готовили муж и жена, чудные люди, скромные, тихие, со смущенными радостными улыбками. Еще была их дочь, ее звали, кажется, Тон, но Кафкан не расслышал наверняка, а переспрашивать постеснялся.

Так вот, эта девушка. Смирненное существо, глаза в пол, в руках тарелка с ножами, вилками и ложками. Она принесла целую смену блюд, отец ее спросил гостей из-за стойки глазами: «Как, мол, еда моя вам?». Сын Гриши сказал: «Невероятный вкус, лучше всего, что я пробовал здесь». Отец, хозяин и главный повар, кивнул в ответ, что благодарен за слова очень. Юная официантка, проходя мимо, обхватила по дороге ладошками бицепс левой руки Гриши Кафкана, сжала и погладила его. Она смотрела в его глаза серьезно, ничего понять старый Кафкан был не в состоянии. Потом она ушла, вот и пойми их. В смысле, женщин. Речь о женщинах вообще здесь, в целом.

Сын сказал, что «ты повел себя верно, папа». Дождаться такого от него было почти невозможно. Дочка хозяев отошла, ее родители промолчали, хотя отец, кажется, все видел. Да что он там мог видеть, скажите? Сын сказал Грише, что «да, он все видел, ему все равно, не волнуйся». – «Я совершенно не волнуюсь», – отвечал старый Кафкан.

По дороге домой сын остановился у большого участка земли. Здесь кипела работа. До самого пляжа. Посередине участка стояло огромное зеленое дерево очень пропорциональное в пять-шесть обхватов. Это было мангровое дерево, до залива было метров тридцать пять. Раздетые до пояса лесорубы карабкались по кокосовым стволам рощи до самых верхушек. Они пользовались веревками, которые связывали щиколотки ног. Движения их вверх были похожи на лягушачьи, но много мощнее. К поясу брюк их была приторочена компактная электрическая пила, которой они пользовались виртуозно. Такой пикирующий беспилотник с зарядом взрывчатки. Звук работающей пилы производили сытый и спелый. Запах дерева и мокрой зелени кружил головы. Отрезая по двух-трехметровому куску ствола, которые рушились по прямой вниз, лесорубы споро продвигались вниз. Зрелище было завораживающее.

Бригадир лесорубов, совсем молодой, желтолицый, одетый в голубую футболку из дорогой ткани с надписью на груди «Челси», подошел к их машине и, пригнувшись к окну, сказал что-то сыну. Тот кивал, явно не одобряя услышанное. О чем они говорили, Кафкан не знал, потому что не слышал, у него были проблемы со слухом, да еще пилы жужжали, как атакующие перегруженные взрывчаткой беспилотники-самоубийцы. После разговора с бригадиром сын закрыл окна, увеличил силу кондиционера – на улице, несмотря на пасмурную погоду, было тридцать три градуса тепла – и резко развернувшись, уехал отсюда, хотя Майя очень хотела еще посмотреть. Сын скривил лицо, резко сказал: «Потом досмотришь», – можно было понять, что этот вопрос не осуждается, себе дороже.

Уже дома сын, полуотвернувшись, объяснил матери и Кафкану, что дереву посередине вырубаемого участка сто восемьдесят лет. Он хотел спасти его, но бригадир, отказался от денег и сказал, что у него есть все разрешающие документы, «и разговор окончен». Смотреть на рубку абсолютно здорового растения возрастом сто восемьдесят лет сын не захотел. Он был очень расстроен, сказав, что здесь другая психология и другое отношение к жизни, потому что «джунгли – это джунгли, а Иерусалим – это Иерусалим, а я родился в Иерусалиме». С этим было невозможно не согласиться. Кафкан посмотрел на своего мальчика удивленно, не ожидал в нем всего этого никак.

Майя разбудила его ночью. В полной тьме Гриша выглянул в окно, за которым в полной иерусалимской темноте шел проливной дождь. В середине февраля в Израиле всегда очень дождливо. «Кажется, все началось, поехали в больницу», – сказала она Грише без тени волнения. Кафкан начал судорожно и испуганно одеваться, не слишком понимая происходящее.

На тумбочке с телефоном у входной двери Майя приготовила пакет со сменным бельем. Сначала она в два движения нацепила широкий сарафан из джинсовой ткани, надела заношенную и растянутую синюю кофту, взяла в руки пакет и сказала: «Ну, все, кажется, я готова, поехали, Гриша». Кафкан сказал ей: «Давай присядем только на дорожку», – и они сели к столу на стулья на несколько секунд по привычке своих родителей. Стол подарила им на свадьбу двоюродная сестра отца Майи, которая выжила в войну и потом уехала в Америку. Это была красивая шестидесятилетняя дама, веселая, белолицая, шумная, восторженная. Она прилетела со всей семьей в Иерусалим, налюбовалась городом, помолилась и сразу определилась с невестой, которую расцеловала в щеки и лоб, и, не объясняя своих слов, провозгласила: «Ты, девочка, копия бабы Майи, а значит будешь жить долго и счастливо».

Из парадной надо было пройти по мосту со сплошными бетонными перилами к стоянке, потому что их дом был построен на склоне холма. Позади дома начиналась сразу пустыня, по которой сейчас текли потоки воды и грязи. Гриша держал зонт над нею, но все равно они оба мгновенно промокли. Над парадной соседнего сто четвертого дома по Неве Якову, новому

кварталу в столице, горела желтая лампочка, и они быстрым шагом добрались до машины. У Гриши была синяя «форд-кортина», которая сразу завелась, Гриша все отладил и отрегулировал в гараже Давида Мизрахи, который работал в квартале Мамилла, что напротив Яффских ворот. Ехать с Русского подворья было шесть минут со светофорами. Тогда это был шумный промышленный район с гаражами, мастерскими, складами. Находился там и ресторанчик на четыре стола с пластиковым покрытием. Здесь подавали фасолевый суп, а к нему питы утренней выпечки, плоску с половиной ядреной луковицы, соленым огурцом и мочеными перцами большой силы. Хозяин смотрел на незнакомых клиентов молча, как на врагов народа, Грише это, если честно, мешало. Хозяин был мрачен и посторонних людей не одобрял, хотя и помалкивал, чтобы не мешать бизнесу, «это святое ведь, правда».

Мизрахи слушал двигатель машины, как настройщик Мариинского театра Кацеленбоген слушал когда-то в Ленинграде концертный рояль марки «Генри Стейнвей», Кафкан однажды видел: благоговейно слушал. Как профессор Лечсануправ – Лечебносанитарного управления Кремля – предположим, Коган, слушал хрипы в организме какого-нибудь тучного, верного и непреклонного сталинского соратника, например, Жданова А.А. «Ничего опасного для вас не услышал, живите как прежде, больше ходите, дышите свежим воздухом, уважаемый Андрей Александрович», – постановил он, облегченно вздохнул и поправив белоснежный халат на животе, собрав все свои предметы, стетоскоп, авторучку, историю болезни пациента и пузырек неизвестно с чем в старомодный врачебный саквояж, щелкнул застежкой, попрощался и ушел, прикрыв дверь, только его и видели, вредителя, безродного космополита, врага пархатого и агента «Джойнта». На его месте мог быть и любой другой – что потом и подтвердилось на следствии – так называемый врач из их шайки-лейки (на выбор), скажем, Вовси М.С., Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн А.М. или даже сам Этингер Я.Г. Они все были светила, и Этингер был из светил, и судьба его была схожей с перечисленными. Сколько же их, этих светил, просто злости не хватает.

Мизрахи все настроил в синем Гришином «форде», подогнал, прочистил, продул, подвинтил, чтобы он был только здоров, этот Мизрахи Давид, старомодный, с подстриженными усами и ветошью в ладонях, житель Старого Катамона, и машина негромко запела всеми своими огромными английскими силами.

До больницы в Гиват Царфатит было ехать четыре километра по узкому шоссе с выбоинами и грунтовыми обочинами, залитыми водой. Ни одной машины им не встретилось, тьма была абсолютная. Дождь лил непрерывно так, что машинные дворники с ним не справлялись. Майя не жаловалась ни на что, изредка она глубоко вздохнула, как будто ей не хватало кислорода. На большом перекрестке волнами ходила лужа глубиной в колесо грузовика, как прорвались, непонятно. «Как такой позор может быть в столице?» – сквозь вздохи поругала беспорядок Майя. Гриша с трудом на второй скорости проехал влево, у площади после подъема свернул направо к больнице. За все время поездки, а это минут 30–35, он не встретил ни одной машины и ни одного человека. Вход в больницу не был освещен, и он вывел Майю из машины, чуть ли не неся ее на руках. Их никто не встретил.

Лишь в конце коридора, повернув направо, они уткнулись в полукруглую стойку с двумя женщинами в голубых халатах. Одна из женщин закивала им. «Садитесь, дети», – сказала она приветливо, выходя к ним навстречу. Вторая женщина, постарше, подняла голову от бумаги, в которую что-то быстро записывала, отвлеклась, кивнула Кафкану и его жене: «ну, наконец-то, а мы вас уже давно ждем, дорогие», – и продолжила писать.

Первая женщина подошла к ним и сказала Майе, совершенно без сил сидевшей с вытянутыми ногами возле Гриши: «Пойдем, милая, посмотрим, что у тебя и как, а ты, муж-груш, жди». Она помогла Майе подняться на ноги и увела ее. Было без пятнадцати четыре февральского утра. Через несколько минут она вернулась и сказала: «Походи с ней минут двадцать снаружи, надо выждать, ребенок будет Водолеем, хороший знак». Они погуляли с Майей под

дождем, Майя капризничала и говорила Грише сердито: «Ну, что такое, что за прогулки под ночной грозой, почему мы слушаем этих теток, ты тоже хорош, не можешь ни на чем настоять, да?»».

Гриша вернул ее в больницу, и прежняя дама деловито сказала ему: «Теперь езжай домой, позвони сюда через час-два, давай, сынок, давай». Часы в вестибюле показывали 4 часа 7 минут утра. Домой Гриша Кафкан добрался быстро, хотя дождь не прекращался и не слабел. Дома он достал початую бутылку арака и выпил два раза по половине стакана, закусив ломтиками *эшколита*, грейпфрута, если по-вашему. Сезон грейпфрута в Израиле приходится на осень и зиму.

Он присел к окошку, заел бутербродом с остатками курицы из супа и стал ждать, глядя на дождь и непонятный гул в пустыне, сопровождавший бурю. Пить было больше нечего в доме, а ехать к арабам, державшим бакалейные лавки вдоль шоссе, ему не хотелось. Страсть к опьянению была в нем слабее боязни холода и воя ледяного ветра из Иудеи. Он был перегружен тем, что происходило. Гриша заснул, чтобы просыпаться каждые пол часа и звонить в больницу. Все тот же голос дамы из приемного покоя терпеливо отвечал ему, что «еще нет ничего, перезвони, мальчик, позже».

В 8 часов 28 минут, как показали ему советские часы «Слава» в стеклянной оправе, он позвонил опять, и дама сказала ему: «Ну, все, держись, мужчина, есть результат: 53 см, 3700 вес, настоящий Водолей, хороший знак». – «А кто родился-то, кто?» – сумел спросить Гриша. «Мальчик, кто же еще, пляши, мужчина, не могу больше говорить». И повесила трубку.

Через пять минут раздался звонок в дверь. На пороге стоял мокрый от дождя коллега по работе, малосимпатичный малый по кличке Мистер Икс. В руках у него была литровая бутылка виски, банка соленых огурцов из киббуца Хашита и пачка сосисок фирмы «Зогловек» из лавки Тимура. «А вот и я», – сказал Мистер Икс. «Ну, хоть так», – ответил Гриша. Они обнялись, стоя на пороге, хотя это и было не к добру, согласно народным приметам. Но кто там помнит о приметах, а? «Мабрук, Гриша», – сказал Мистер Икс, входя в салон, прихожей не было в квартире Кафканов, так было спланировано. Откуда Вадим – так звали Мистера Икс – узнал о родившемся только что сыне Гриши, было непонятно. Вадим прочно стоял на ногах, многое понимал и разбирался в так называемой жизни, просчитывая свое поведение вперед. Единственное, что примиряло Кафкана с ним, был относительный неуспех этого человека и необъяснимые провалы в карьере.

Гриша вытирал руками мокрое лицо, стоя у окна, не без смущения повторяя: «Видишь, какая влажность, Вадя». Ему было двадцать шесть лет, гостю – двадцать восемь. Конечно, Кафкан был изможден мучительной для всех влажностью воздуха. Но и глаза его, подчеркнем, стали внезапно слезиться, чего раньше никогда с ним не случалось, он этого стеснялся.

В 12 часов с минутами они все допили, доели – и Вадим повез Гришу посмотреть на своего мальчика. Распогодилось, и даже выглянуло солнце, хотя на улице было холодно, ветер качал машину в дороге, как надувную лодку в море возле Тель-Авива во время ночного прилива. С Вадимом они распрощались. «Спасибо, выручил меня», – сказал Кафкан. «Потом будешь благодарить. С тебя стакан, а возможно, и два с половиной», – посмеялся Вадим и умчал в сторону спуска на главное шоссе, ему надо было на работу. Они много пили в то время, не обремененные, здоровые, с малыши(?) обязательствами перед жизнью.

Гришу сразу пропустили. Вчерашние ночные дежурные уже сменились. Новые тоже были милые и любезные донельзя. «Сынка не терпится поглядеть, Кафкан? Понимаю, иди быстрее, второй этаж пятая палата», – сказала та, что постарше. Они обе улыбались ему как близкому человеку, с любопытством наблюдая за выражением лица. Гриша волновался. Он зашел в палату без стука, позволил себе позабыть о вежливости. Он был напряжен, море ему было по колено. В палате было шестеро молодых женщин, одетых в одинаковые синие байковые халаты. Все они испуганно и несколько искусственно ахнули при виде Гриши. Он привел себя

в порядок перед входом, пригладил волосы, застегнул рубаху, поправил ремень. Майя лежала у окна. Она рассиялась при виде его. «Это мой муж Гриша, не бойтесь его, девочки, он не страшный, он хороший», – сказала Майя.

Надменная деваха, лежавшая у двери, посмотрела на Кафкана, как на взломанный пустой чемодан, и сказала ему недовольным тоном: «Дверь прикрой за собой, папаша, дует». Женщины – сложные существа, это всем известно. А уж в роддоме! Гриша прошел к окну, дверь не закрыл от смущения и оттого, что торопился, и дама осуждающее фырчала ему что-то вслед, явно не комплимент, но он не слышал ничего.

Вот, кстати, Вадим. Все говорят, что себе на уме и что своего не упустит, и что машины меняет каждый год, и откуда деньги только, но водит как бог, и карьерист, и эгоист, и что только нет. А ведь не хуже других человек, если разобраться, и вот приперся поутру в дождь и в холод порадоваться за коллегу, и подвез вот сейчас, и прикроет, когда надо... Не хуже, не хуже других, совсем. Но и не лучше, конечно. Вадим был совершенно глух к красотам природы, они на него не влияли. Он верил числам и только им. Но хватит о нем, тем более, что и Кафкан относился к нему спокойно, если не сказать резко.

Дожди на этом острове – совершенно отдельная тема. Внезапно темнеет, остаются все те же тридцать два градуса тепла кругом, налетает резкий ветер с севера, сопровождаемый сумасшедшей силы дождем. Дождь легко пробивает сплошную листву из листьев разной величины и плотности, по земле рвутся по склонам потоки мутной глинистой воды, на асфальте образуются лужи, в которых даже могучие джипы не всегда умеют пробиться наружу. Вместе с этим, в двух километрах от дождя все тихо-мирно, и даже есть какой-то намек на просвет. Самое же интересное происходит с заливом. Он становится сине-черного цвета и буквально встает на дыбы, вертикально земле. Через час может выглянуть солнце и воздух прогреется дальше, хотя, казалось, куда еще. Через дорожки легко и высоко прыгают веселые крошечные лягушата, похожие на набравших цвет и вес комаров, которые и так здесь не маленькие. Лягушата эти вызывают умиление у людей – в большей степени, чем другие чувства. Мамы лягушат наблюдают за этими прыжками своих детей из кустов и травы с обожанием и скрытой тревогой. Мамы есть мамы, разве не так?!

Однажды Майя спросила отца, откуда у него такие следы ожогов на руках и плечах. Он всегда был большой загадкой для всех детей, но для Майи, как старшей, особенно. Никого при этом разговоре не было. Майя понимала, что в присутствии других детей Зелиг отвечать ей не будет. У Зелига действительно были обширные следы ожогов на теле. Он помолчал, огляделся на предмет одиночества и наконец сказал, точнее, рассказал:

– Я же трижды пытался попасть в Палестину. Таких, как я, были тысячи парней и девушек в Европе. Одиноких, назовем их так. Англичане разрешения на въезд никому не давали. Они вообще, если ты не знаешь, могли спасти более миллиона человек до и во время войны, если были беженцам сертификаты на приезд в Палестину, но они решительно отказывали нам, даже не обсуждали этого. Ненавижу англичан, – тусклым голосом без окраски сказал Зелиг.

Майя уже слышала от него об этом. Она продолжала молча ждать от него объяснений.

– Каждая наша попытка пробиться в Палестину сопровождалась грандиозными драками с английскими солдатами, которые действовали решительно и жестоко. Мы им не уступали ни в чем, разве что в количестве, солдат было много больше. И они были по-военному организованы, били без жалости. Мы дрались отчаянно, били их руками, ногами, палками, чем только нет. Когда они не справлялись с нами, то тогда обливали нас кипящим маслом. От этого масла мои ожоги, – рассказал Зелиг Бойм. Он был железный человек, как она считала, ничто его не могло сломать и никогда. Майя сморщилась и судорожно сжала руки, думая о нем и его жизни. Раз в год отец ходил в синагогу, которую обычно обходил, отвернув прочь темное резкое лицо свое. Он проводил в синагоге без сна, еды и воды почти сутки. Приходил домой растерзанный,

несчастный, потерянный. С ним старались после этого дня страданий, памяти, скорби лишний раз дома не разговаривать. Только Майя заходила к нему, лежавшему лицом к стене на диване, и приносила чай. От алкоголя Зелиг судорожно отказывался, что-то из прошлого ему мешало или еще что-то... Неизвестно.

Тяжелая невыносимая скорбь, ноша, с которой невозможно справиться (почему и за что такая несносная боль?) – все это было написано на его лице со страшными страдальческими морщинами на лбу и щеках. Зелиг явно жалел и ничего не мог с этим поделать, что проскочил ту черту, за которой начиналось его нынешнее существование и закончилось детство (жизнь?) возле ходящего ходуном оврага вблизи кладбища в городке Тулсте пятьдесят лет назад.

Когда Майя училась в первом классе и начала ходить в школу, которая находилась на боковой улице, если идти от их дома направо и потом еще раз направо, и вот за углом и есть школа, то у нее было несколько верных подруг. «Буду дружить с этими девочками до самой смерти», – так она говорила матери за обедом. Та не реагировала на ее слова, только поправляла: «О какой смерти ты болтаешь, глупенькая, тебе еще целую жизнь надо прожить, ешь и не отвлекайся».

У одной из ее подружек мать работала на фабрике в пошивочном цеху, где строчила на гимнастерках швы в рукавах. Только швы и только в рукавах. Отец ее, токарь-наладчик, трудился где-то в центре страны и домой приезжал только на выходные. Девочка целыми днями была одна дома, старательно делала уроки (учительница ее хвалила в классе), прибиралась и готовила пюре на подсолнечном масле для себя, картошка в доме была. Потом она сидела у окна и читала растрепанную книжку, которая была единственной в доме. Книжка называлась «Приключения Гекельберри Финна».

Такой тихий послушный ребенок. Говорила она вполголоса. Ее звали Веред, хотя она как-то мельком сказала Майе, что записана она была Розой. «Мама мне объяснила, что Веред и Роза одно и то же, просто Веред меня назвали, чтобы я не выделялась, понимаешь?!» Майя спросила мать, так ли это, та, прочувшаяся два класса в узбекской школе, знала русский язык. И та подтвердила, что Роза и Веред – одно и тоже имя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.